

Александр
Половец

Мистерии доктора Гора

и другое



Александр Половец

Мистерии доктора Гора и другое...

«Автор»

2013

Половец А. Б.

Мистерии доктора Гора и другое... / А. Б. Половец — «Автор», 2013

На страницах книги поначалу кажутся несовместимыми сплетения документального и художественного, реальности и фантазии, риска и обыденности, философии и гротеска. Открывает книгу художественно-документальная повесть «Беглый Рачихин». Владимир Рачихин, помощник известного режиссера Бондарчука, бежавший с киносъемок в Мексике и обратившийся за политическим убежищем к американским властям... Книга включила в себя разделы «Сны Однопозова» и «Мистерии доктора Гора» – собрание разрозненных по сюжетной композиции, но единых по высшему, философскому замыслу великолепно выписанных коротких новелл. Однопозов, чудаковатый прозаик, черпающий истории своих героев из параллельного мира, располагающегося... за перилами балкона писательского дома. Дуальность мироздания, неподчинённость мира идеального миру материальному, и наоборот – лейтмотив всего цикла. Здесь - кадры фотоплёнки, где был запечатлён странный человек, оставивший автору не менее странную рукопись, оказываются пустыми, будто человек этот существовал в ином измерении, нежели его рукопись (рассказ «Гонконг»). И старинный брегет, купленный героем в антикварной лавке - он показывает каждый день одно и тоже число (рассказ «Брегет»). Герой начинает понимать, что переживает один и тот же день снова и снова, только вот события претерпевают непонятный герою угрожающий дрейф, будто ОТТУДА ему посылается предупреждение... Но самое удивительное, пожалуй, вот в чем: параллельные линии всех судеб, пронизавших повествование, вопреки всему, – пересекаются. И сходятся они именно в Вас, читатель. В Вас, перевернувшем последнюю страницу. В Вашем мире. Там, где продолжает причудливо тасоваться прошлое, настоящее и будущее и где кровь диктует свои права на Вашу судьбу.

© Половец А. Б., 2013

© Автор, 2013

Содержание

| | |
|---|----|
| ОБ АВТОРЕ | 6 |
| Татьяна Кузовлева. МИР, В КОТОРОМ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ПАРАЛЛЕЛИ | 8 |
| Часть 1 | 10 |
| Предисловие В.Максимова | 10 |
| Беглый Рачихин | 12 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 62 |

Александр Половец

Мистерии доктора Гора и другое...

ОБ АВТОРЕ

Александр Половец, известный прозаик и публицист, автор восьми книг, член Союза писателей Москвы и Русского ПЕН-центра, родился в 1935 году в Москве.

Эмигрировал с сыном в США в 1976 году.

В прошлом – профессиональный издатель, первые несколько лет эмиграции он работал в американской рекламно-издательской фирме и одновременно, в 1977-м году, создал русское издательство «Альманах», выпустившее бестселлеры: первую на Западе русско-английскую двухтомную антологию анекдотов из России «Недозволенный смех», участвуя в её составлении, первым изданием «Центральный дом литераторов» Л.Халифа, рукопись которой автор нелегально вывез из СССР и «Русскую кухню в изгнании» П.Вайля и А.Гениса (впоследствии они многократно переиздавались с согласия авторов и в России), ряд других изданий.

В 1980 году, основав в Лос-Анджелесе газету «Панорама», ставшую вскоре самым популярным газетным еженедельником на русском языке в США, он на протяжении 20 лет, вплоть до 2000 года, оставался бессменным главным редактором и издателем «Панорамы», как и автором множества публикаций в ней.

Писательскую известность Александру Половцу принесли изданные в Америке книги «Беглый Рачихин и другое» (1987,1996), «И если мне суждено» (1993), «Для чего ты здесь...» (1995), «Такое время» (1997), «Все дни жизни» (2000), «Булат» (2001) и вышедшие в России однотомники: рассказы и повести «Мистерии доктора Гора» (2006) и сборник художественно-документальной прозы «БП. Между прошлым и будущим» (2008) с уникальными фотографиями из обширного архива писателя, существенная часть которого хранится теперь и в Российском Государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ).

Александр Половец – Президент Американского культурного Фонда Булата Окуджавы, с которым он дружил многие годы.

Живет в Лос-Анджелесе.

«Курьёзная история... – неожиданно приобретает под пером Александра Половца булгаковское звучание, здесь дьяволышка соседствует с едкой сатирой»

«НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА»

Москва, ноябрь 2006 г

«...Собрание разрозненных по сюжетной композиции, но единых по высшему философскому замыслу, великолепно выписанных коротких новелл»

«ВЕСТНИК», вып. 163

США

«Александр Половец – писатель в литературе, обладающий пером собственным, ни у кого напрокат не взятым...»

Анатолий АЛЕКСИН

«...Книжка твоя совершенно достойна и искренна до шелушения крайней плоти над свечой».

Юз АЛЕШКОВСКИЙ

«Книга интересная. Отнесся к ней, как к стакану жуткой сивухи – залпом. Рачихин – личность тёмная. Или аффективная. Спасибо».

Игорь ГУБЕРМАН

«Три разных человека, три беглеца, три необычные судьбы оказались объединены обложками одной книги. И книгу эту, несомненно, с интересом прочтет и российский, и зарубежный читатель».

Владимир МАКСИМОВ

«“Сны Однопозова“ Александра Половца – собрание разрозненных по сюжетной композиции, но единых по высшему, философскому, замыслу великолепно выписанных коротких новелл. Дуальность мироздания, неподчинённость мира идеального миру материальному, и, наоборот, – таков лейтмотив всего цикла...»

Станислав ФУРТА

Татьяна Кузовлева. МИР, В КОТОРОМ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ ПАРАЛЛЕЛИ

«Как причудливо тасуется колода. Кровь», – произнес, помнится, Воланд, задумчиво взглядываясь в булгаковскую героиню. Кровь, диктующая судьбу. Судьба, выхваченная цепким писательским взглядом. Время, споткнувшееся о страницу рукописи. И кровь, и судьба, и время – все это, срастаясь, становится компонентами единой мистерии, имя которой – Жизнь.

На страницах книги Александра Половца «Мистерии доктора Гора» (М., издательство «Зебра-Е», 2006) поначалу кажутся несовместимыми сплетения документального и художественного, реальности и фантазии, риска и обыденности, философии и гротеска. Вот и судьбы героев выстраиваются в неожиданном соседстве: три советских беглеца на Запад в 70–80 годы из страны, «строящей коммунизм»; интеллигентная, а потому и незаметная в громогласности и фальши этой не существующей ныне страны – жительница московской коммуналки Анна Семеновна Шарф; ну и еще – отмеченные близостью к иным измерениям или живущие в измерении сугубо собственном люди, населяющие странные сны некоего писателя Однопозова, а также не менее странные пациенты доктора Гора, поступки которых подчас вызывают изумление даже у автора...

«Главная песенка» – она была и у этих троих («Беглецы»), бежавших не от Родины, а от бесчеловечной системы, утвердившейся тут на многие десятилетия. А кто-то, может быть, и от себя. Выбраться «любой ценой, любым способом» – у каждого из них были свои надежды: удачно вписаться в незнакомую жизнь, или переломить судьбу в лучшую сторону, или обрести, наконец, полную свободу.

Владимир Рачихин, помощник известного режиссера Бондарчука, бежавший с киносъемок в Мексике и обратившийся за политическим убежищем к американским властям... Моряк Михаил Чернов... Олег Емельянов, мечтавший после побега стать первым русским, совершившим кругосветное путешествие на яхте. Трагично сложилась судьба первого, мало что известно о судьбах двух других. Прав оказался известный писатель Владимир Максимов, в свое время подведший своеобразный итог не только трем этим судьбам: «Сама по себе свобода не обязательно делает человека, обретшего ее, счастливым...».

А вот Анна Семеновна Шарф («Анна Семеновна») смогла и в несвободной стране сохранить внутреннюю свободу и достоинство (как там у Булгакова про колоду и кровь?). Ее спасали от одиночества книги, да еще на излете жизни привязанность к соседскому мальчику, в котором она разглядела что-то не видимое, не угаданное остальными: не случайно же он иногда чувствовал на себе ее внимательный взгляд. И ему, а не выпрашивающему у нее уникальный портрет Шалыпина уважаемому Бахрушинскому музею, «завещала» она свою главную ценность. Этот самый портрет с автографом ей, тогда петербургской барышне. Вряд ли она подозревала, что портрет этот однажды окажется на другом континенте, в архиве свято хранящего его Александра Половца. Поскольку тем мальчиком был он. «Причудливо тасуется колода»? О, еще как.

Из множества способов такой тасовки один был выбран писателем для того, чтобы, смешав явь и сны своих героев («Сны Однопозова»), явить нам случайность, непредсказуемость, предопределенность их (нашего, нашего с Вами, читатель!) существования, предостеречь от одушевления неодушевляемого, от преодоления хрупкой грани между былью и небылью (ах, как тянет иногда за нее!), переступив которую можно бесследно сгинуть, исчезнуть навсегда там, куда один только шаг с балкона или где загодя нацелен на нас дребезжащий по рельсам трамвай... Но и по эту сторону жизненной грани происходит немало поразительного, как в давшем название книге цикле мистических рассказов «Мистерии и злодейства доктора Гора».

Но самое удивительное, пожалуй, вот в чем: параллельные линии всех судеб, пронизавших повествование, вопреки всему, – пересекаются. И сходятся они именно в Вас, читатель. В Вас, перевернувшем последнюю страницу. В Вашем мире. Там, где продолжает причудливо тасоваться прошлое, настоящее и будущее и где кровь диктует свои права на Вашу судьбу.

Часть 1 Беглецы

Предисловие В.Максимова

ЧЕРЕЗ ПРОПАСТЬ В ДВА ПРЫЖКА¹

Я гостил в Америке. Собираясь в дорогу – из Нью-Йорка в другой конец континента – я запасся самой разной литературой – путь предстоял дальний, и одних пейзажей, чтобы не опухнуть от скуки, мне бы явно не хватило. Среди увесистой кучи печатной продукции, которой снабдил меня нью-йоркский издатель Габриэль Валк, оказались и гранки книги, составленной из очерков редактора калифорнийского еженедельника «Панорама» Александра Половца – и его документальной повести.

Честно говоря, к газетному чтению я отношусь с некоторым предубеждением, и потому знакомиться с содержанием этой стопки листков не спешил, приберегая их на самый конец дороги. А жаль!

С первых же строк меня по-настоящему захватило ощущение реальности, возникающее при знакомстве с героями книги – в каждой ее части отчетливо сквозило желание автора избежать лукавого соблазна сыграть на «выигрышной» теме, увлечь читателя авантюрной стороной событий, оставив в стороне от его внимания подлинную суть происходящего. И мне кажется, жанр, выбранный им, вполне оправдан. Практически, автор как бы и не вмешивается в исповедь своих героев, лишь слегка и к тому же (не могу удержаться, чтобы не отметить этого!) мастерски направляя их собственные рассказы в берега стройной литературной формы – чтобы не дать им, как у нас говорят, растечься по древу.

Речь идет о судьбах трех беглецов из Советского Союза. У них не было пусть унижительной, но все же узаконенной возможности обратиться в ОВИР (как это ни парадоксально, в России иногда и об отсутствии соответствующего „пятого пункта” можно пожалеть!). И у них оставалась одна-единственная возможность – надеяться лишь на себя и на свою удачу.

К сожалению, жизнь не укладывается в упрощенные схемы, какими мы часто пытаемся представить себе ее развитие. И удачный побег – еще полдела. А сама по себе свобода не обязательно делает человека, обретшего ее, счастливым. Помню, когда в знаменитом фильме „Бабочка” герой – закоренелый беглец – оказывается один на надувном мешке под палящим солнцем в океане, за кадром звучит эпический голос диктора: „Это и есть – свобода!” Да, здесь, на Западе, человек абсолютно свободен, но эта свобода предполагает и умение распорядиться собой, не надеясь на некоего доброго дядю, который тут же, и за один только твой личный выбор, обеспечит тебе до конца дней счастливую и безбедную жизнь.

Вот об этом-то и рассказывает документальная повесть „Беглый Рачихин” которой открывается книга. Владимир Рачихин – человек, если можно так выразиться, счастливой советской судьбы: удачливый администратор, директор мосфильмовских картин, работавший в последнее время с „самим” Сергеем Бондарчуком. Бежал прямо со съемок в Мексике, первой же в его жизни зарубежной поездке – среди прочего можно предположить, что в расчете на еще большие возможности. И возможности, разумеется, открывались (как, в общем-то, и

¹ Предисловие было написано к первому изданию повести, включенной в авторский сборник „Беглый Рачихин”. Издательство посчитало возможным сохранить это предисловие в том виде, в каком его предложил покойный ныне писатель. Впервые повесть была опубликована в Нью-Йорке в нескольких номерах „Нового Русского Слова” (ред.).

перед всяким жителем Америки); но вот социальный потенциал героя повести оказался явно не на уровне...

Да и стремился ли Рачихин по-настоящему к успеху? Здесь автор оставляет читателя один на один с героем и с извилистыми зигзагами его не вполне обычной биографии. И перед нами проходят страницы его новой жизни: какие-то немые ролишки во второстепенных эпизодах, случайные заработки, еще более случайные знакомства. Ну и, конечно же, как это бывает в таких случаях с нашим русским братом, гульба, что называется, по-черному. Завершается эта часть его биографии трагической смертью близкой Рачихину женщины. И – судом над ним. И хотя за недоказанностью улик наказание, постигшее героя, весьма относительно, жизнь его от этого слаще пока не делается...

Пересказанное выше – лишь сюжетная канва, за которой внимательный читатель опять угадывает параллельный пласт повествования: советская среда – это именно она порождает и пестует свою элиту, составленную вовсе не обязательно из отпрысков правящей прослойки. Так, например, произошло и с героем этой повести, вовремя понявшим и усвоившим правила жизни, позволяющие пробиться и закрепиться в верхнем ее эшелоне.

Три разных человека, три беглеца, три необычные судьбы оказались объединены обложками одной книги. И книгу эту несомненно с интересом прочтет и российский, и зарубежный читатель.

Беглый Рачихин

Документальная повесть

27 мая 1981 года советский гражданин Владимир Рачихин запросил у правительства Соединенных Штатов политическое убежище. По заявлению иммиграционных властей, В.Рачихин является сотрудником группы, завершающей в настоящее время съемки кинофильма в Мексике. Руководит съемками известный советский режиссер Бондарчук, ассистентом которого являлся бежавший.

Из сообщений прессы

Верховный суд штата Калифорния,
Графство Лос-Анджелес
Штат Калифорния.

Истец. Дело номер 093795

Окружной районный прокурор графства Лос-Анджелес
Данной судебной жалобой заявляет:

СТАТЬЯ I:

Между 27 и 28 декабря 1985 года или в один из этих дней в графстве Лос-Анджелес было совершено убийство, в нарушение параграфа 187/а/ Уголовного кодекса, т. е. уголовное преступление, – (оно было совершено) Владимиром Рачихиным, который предумышленно, незаконно и с преступным намерением убил Людмилу Кондратьеву, человека.

Эта жалоба под номером А093795 содержит в себе один пункт обвинения.

*Айра Райнер, окружной прокурор
графства Лос-Анджелес,
штат Калифорния*
Подано в суд Джеймсом А.Баском,
заместителем окружного прокурора

Сибирь

По Иртышу шел пароход. Трюмы его были забиты туго упакованными брезентовыми мешками, ящиками с мясными консервами и яичным порошком – остатками американских поставок по ленд-лизу, и другими – с крепленным вином и водкой, солью, спичками, сапожной ваксой, махоркой и папиросами. Товар этот направлялся в глубинку, в торговую сеть Тобольска, и еще дальше – в окрестные села и на лесоповал...

Какая-то часть его имела специальное назначение – груз ждали в трудовых лагерях, частыми отметинами оспы покрывших в те годы сибирскую землю. Этот груз хранился в отдельном трюме, и сопровождали его двое – пожилой, давно не бритый, солдат с голубыми погонами на плечах видавшего виды бушлата и совсем молоденький лейтенант в новой, еще не успевшей отвисеться шинели, любовно поглаживающий кобуру с макаровским пистолетом. Время от времени он бросал любопытный взгляд на молодых женщин, сбившихся в отдельные группки – численно они представляли собою, пожалуй, большую часть толпившихся на палубе.

Другую значительную часть пассажиров составляли демобилизованные. Солдаты возвращались с Запада, оставив за плечами сотни и тысячи километров выжженных дорог, сметенных сел и разбомбленных городов – память о которых хранили теперь лишь довоенные географические карты да чудом спасшиеся во всепожирающем пламени войны люди, составлявшие когда-то население тех мест.

– Сибирь, Сибирь, Сибирь... – отбивала по бортам парохода невысокая волна.

Кого-то из них ждал дом, семья. Кто-то лишь будет еще пытаться отыскать давно забытую родню – потому что позади уже ничего не оставалось, никому из близких не случилось пережить лихолетье войны. А кто-то просто надеялся, что уж теперь-то, да еще в новых местах, начнется, наконец, новая жизнь – не просто мирная, но обильная и счастливая, заслуженная голодными предвоенными годами и добытая кровью, своей и миллионов павших, кому домой уже никогда не вернуться.

Солдаты собирались в небольшие компании, по трое-четверо, где объединяющим было либо общее направление следования, либо род войск, в котором прошли годы службы, а чаще – просто сходство характеров и возникшая вдруг в пути взаимная симпатия. Из вещмешков извлекались ржанные буханки, латунно поблескивающие сквозь слой жирной смазки консервные банки.

С бутылочных горлышек об каблук сапога или просто об палубу отбивался темно-коричневый сургуч. Он был так похож на шоколад, которым подвыпившие солдаты угощали Вовку! И Вовке казалось, что прозрачная жидкость, которую демобилизованные разливали по металлическим кружкам и потом, выпив ее, морщились и занюхивали свежеччищенной луковицей, тоже должна обладать удивительным вкусом и ароматом.

Позже, в Тобольске, а потом в Омске Вовка узнал вкус водки: с такими же пацанятами бродил он по базару, предлагая демобилизованным купить табачку. Табак этот добывался из подобранных здесь же окурков, а солдаты, которые получали неплохие по тем временам деньги по своим орденским книжкам и могли себе позволить и „Казбек“, и приличную закуску, жалели пацанов, давали им какую-то мелочь, угощали дешевыми леденцами.

А иногда, плеснув в стакан портвейна или водки, протягивали его и ждали, когда малец, задыхаясь, одолеет его, сглотнет густую слюну, зажует ее пряником. И, поглаживая белокурую головку, всхлипывали, приговаривая жалостливо: „Эх, безотцовщина...“

* * *

Вовка, и правда, не знал своего отца – родился он где-то на Васюганских болотах в декабре 41-го года: те, кто бывал там, называют эти места самыми проклятыми на земле, страшнее амазонской сельвы. Мать его, дочь ссыльных (за что деда и бабушку выслали из Москвы, Вовке никогда не говорили) замуж пошла не по любви – надо было как-то выжить. Отца забрали в первые дни войны, пришло от него несколько треугольных конвертиков, а в 43-м – похоронка из военкомата. Потом уже, годы спустя, выяснилось, что погиб он на Курской дуге...

Ближе к концу войны привел Вовка домой демобилизованного – из тех, что на базаре потчевали его портвейном и пряниками. Такого же, да не совсем – был он превосходным балалаечником, отменно плясал, а когда, выпив стакан-другой „сургучовки“, сдвигал локтями закуску в обе стороны стола, подпирал кулаками голову и негромко затягивал „Бродяга Байкал переехал...“, Вовкины глаза становились мокрыми, и казалось ему, что нет на свете человека ближе и дороже, чем этот, ставший для мамки новым мужем. Вроде, мужем...

Жить переехали к его отцу, новому Вовкиному деду. Страшное рассказывали про него люди – двух жен убил, в том числе и мать нынешнего Вовкиного отчима: грохнул кулаком по голове, рухнула она, закатилась под стол и больше не поднялась. Знали однако – по пьянке

случилось, и потому народ не осуждал старика, а даже где-то сочувствовал: шутка ли, на старости лет к третьей жене сына привыкать.

После первого класса Вовку перевели в открывшуюся в послевоенный год музыкальную школу. Хотелось мальцу играть на пианино, но дед требовал – только баян. И правда, какое в доме веселье, если без баяна! Ребятам задавали разучивать несложные пассажи из начальной музыкальной грамоты, а дед, опорожнив бутылку спирта, умильно просил: внучек, родной, давай „Камаринскую”!

– Эх ты, сукин сын, камаринский мужик...

Набегут мужики в избу – опять спирт, самогонка. Да сало с хлебом – другой закуски не бывало. Махорочный дым разъедает глаза. Вовку из-за баяна самого не видно, ремень режет плечо, пальцы перестают слушаться. А надо всем – пьяный рык деда: „Вовка, ная-а-а-ривай!..”

На ночь Вовка часто сбегал к бабке – невыносимо было слышать шебуршанье, доносившееся с кровати мамки и отчима, мучило чувство, которое скорее всего можно было посчитать ревностью. Сыновней, детской – но ревностью. Бабка укладывала его в свою постель, баюкала, рассказывала что-то – о большом городе Москве, откуда она была родом и откуда их с дедом в 38-м сослали – сначала на Васюганские болота; годом позже деда переправили еще дальше, куда-то под Вятку, где его следы затерялись окончательно, и бабка осталась с тремя дочерьми на руках...

Утром Вовка шел в школу, а потом – снова домой, где ждал его обед. Картошка, хлеб, кипяток вместо чая – работать отчим не любил, а орденского пособия теперь хватало разве что на неделю-полторы. Летом было легче – можно было рыбачить, и Вовка с друзьями нередко сбывал улов тем же демобилизованным. А на выручку, естественно, закупали пряники, конфеты – для мальцов, ребята постарше устраивались где-нибудь в заброшенном сарае и разливали по утащенным из дома тонким алюминиевым кружкам ядовито-красный портвейн.

Первые смерти

К концу четвертого класса Вовкины успехи в школе были отмечены путевкой в Артек. Едва начав изучать географию, Вовка определил главную цель своей жизни – попасть в теплые страны. Уйти из дома, сесть на поезд – и ехать, ехать, пока за окнами вагона не возникнут высоченные пальмы с одной стороны и пока не заплещется морская волна по другую сторону железнодорожного полотна. Куда, как будут называться эти места – значения не имело.

А имело значение то, что там никогда не будет перехватывающих дыхание морозов, от которых не только кочурится в хлевах домашняя живность, если хозяин по пьяному делу вовремя не позаботится укрыть ее в сенах избы, но и ветви деревьев становятся по-стеклянному хрупкими и ломаются от малейшего к ним прикосновения.

И еще имело значение то, что не будет там тесной избы, все стены которой пропитаны спертым, застоявшимся годами воздухом, не будет пьяных мужиков и давно утративших женский облик баб, а будут красивые люди, одетые в белые одежды, и они будут говорить друг другу красивые слова и танцевать под красивую музыку – совсем так, как в трофейном фильме „Девушка моей мечты”, который неделю подряд крутили в кинотеатре городского парка.

Кинотеатр был открытый, и, несмотря на то, что ребят на этот фильм не пускали (да и пускали бы – кто же станет тратить деньги на билет!), вся Вовкина компания не единожды смотрела его с забора, огораживающего несколько десятков скамеечных рядов, или с деревьев, росших вокруг этого забора.

Как раз после такого просмотра кто-то из ребят, воодушевленный невероятной экзотикой заграничной жизни, предложил вполне романтическое продолжение вечера: по его сведениям, в торговый ларек, разместившийся здесь же, в парке, завезли перед самым закрытием коробки,

в которых, скорее всего, содержатся шоколадные конфеты и папиросы „Казбек” – почему бы не проверить, так ли это? Парк был уже пуст, ребята не торопясь вырезали в фанерной стене киоска дыру; Вовка, как самый маленький, влез туда и при свете спичек обнаружил... бутылки с настойкой „Облепиховая”, с „Запеканкой” и сигареты „Памир”. Больше в киоске ничего не было.

Ящик с сигаретами и бутылок сорок „Запеканки” быстро перекочевали в заброшенный дом на окраине городка. В первый вечер пить не стали – почти вся компания состояла из детдомовских ребят, до вечерней проверки и отбоя оставались считанные минуты. Зато на другой вечер были созваны дружки со всего города, а оставшееся от пиршества щедро раздавалось весь следующий день.

Немудрено, что к вечеру этого же дня вся компания встретилась снова – на этот раз в отделении милиции... Участникам приключения, достигшим 13 лет, дали по два года и отправили в детскую колонию в Кунгур. Вовке только что исполнилось 10 – наказанием для него стало лишение путевки в Артек.

* * *

Если бы можно было линию человеческой жизни разделить на отрезки, обозначив ими четко – вот здесь кончается детство, здесь – молодость, а от этой точки начинается старость, Вовкино детство следовало бы считать завершившимся именно в тот год. Не потому, что утраченная возможность провести пару недель в Артеке вызвала в нем столь сильные переживания, что с ними пришла и взрослость – Вовка почему-то уже тогда знал, скорее чувствовал, что все равно будет рано или поздно в его жизни море, будут пальмы и белые пароходы на горизонте, именно так представлял он себе свое будущее.

Сделала Вовку взрослым первая смерть, с которой столкнула его судьба – смерть близкого приятеля, детдомовского парнишки, уговорившего Вовку развести голубей. Увлечение это оказалось для парнишки роковым: лазая по крыше, схватился он за оголенный электрический провод. После этого случая роздал Вовка голубей, одного, правда, принес погибшему дружку на могильный холмик, насыпал пшена и оставил там сизаря в открытой клетке.

Потом смерти Вовкиных друзей следовали с удивительной методичностью. Из семьи он вскоре после этого случая ушел, попросился в детдом в древнем, отстроенном еще Ермаком, городке Тара, что под Омском, сказавшись круглым сиротой. Мать звала его домой, но возвращаться не хотелось – домашний этап жизни Вовка считал для себя законченным, тем более, что ему стали переводить пенсию за отца, погибшего, как теперь выяснилось, в офицерском звании. На первые появившиеся деньги купил Вовка баян – местного производства, той самой кунгурской фабрики, на которой трудились его дружки, сидевшие в детской трудовой колонии. Ну, а с баяном пришли первые заработки – Вовка стал приглашать на свадьбы.

Присмотрел он себе охотничье ружье, купил и устроил для приятелей на опушке леса, подступавшей к самому Иртышу, тир, где мишенями им служили пустые консервные банки. Однажды, идя вдоль берега, увидели ребята невысоко в небе стаю каких-то птиц. Вовка вскинул дробовик, и четыре скворца упали почти к его ногам – те самые птахи, к прилету которых они каждую весну любовно готовили деревянные домики, сбивая их из кусков старой фанеры, и приколачивали к деревьям и навесам избяных крыш. А Вовка думал, что целится в уток...

Захоронили ребята скворцов в вырытой ямке, там же на берегу Иртыша, и отдал он ружье хромому Мишаньке – нога у того не гнулась от рождения, но был он парнишка прыткий и ловко, не уступая остальным, лазал по деревьям. Повесил Мишанька ружье на стену, охотиться в те дни вроде не собирался. А заглянул к нему кто-то из приятелей, захотелось похвастать – стал он снимать дробовик со стены, уронил. Ударилось ружье прикладом об пол, выстрелило, и весь снаряд угодил Мишаньке прямо в шею, уложив его наповал.

* * *

Когда пришло лето, Вовка вызвался помогать новому своему деду – по нынешнему мамкиному мужу – косить сено. В один из вечеров пошли они с деревенскими ребятами рвать черемуху. Вовка с приятелем отделился от общей компании. Углубившись в заросли, они забрались на деревья, стоявшие чуть в стороне, ближе к опушке, и, переключаясь, рвали темные и терпкие на вкус ягоды, отправляя их горстями в рот. Внезапно налетела гроза. Молнии со страшным грохотом раскалывали ставшее вдруг низким небо, и, казалось, прямо из этих, образованных ими где-то над самой головой, прорех обрушивались на ребят нескончаемые потоки ливня.

– Спускаемся! – крикнул Вовка и соскользнул вниз по невысокому, ставшему мгновенно мокрым и холодным, стволу деревца. Оглядевшись, увидел распластанного в только что образовавшемся болотце набежавшей воды дружка – уже не дышавшего.

– Почему, – часто потом задумывался Вовка, – почему молния выбрала его дерево? Могла бы в мое... или в то же самое, но быть на нем мог бы и я. Это и есть – Судьба?..

* * *

Потом снова тянулись детдомовские будни, прерываемые время от времени незначительными, однако запоминавшимися на фоне нескончаемой череды одинаковых серых дней, происшествиями. Например, проснувшись однажды, не обнаружил Вовка своих ботинок – стащили, значит, из своих кто-то взял. Пришлось идти в школу босым по осенней слякоти. Ноги посинели, ступни, поначалу болевшие от притаившихся в лужах острых камешков и передававшие эту боль, казалось, по всему телу, утратили чувствительность.

В школе сердобольная уборщица отыскала пару забытых кем-то потрепанных калош; набив их газетами, Вовка возвращался в детдом, пряча от редких встречных заплаканное лицо. Зато покупка новых башмаков – деньги на них у Вовки скопились игрою на недавней свадьбе – стала еще одним событием, на этот раз по-хорошему памятным. Тем более, что Вовка все больше и больше внимания стал обращать на свою внешность: он вместе со своими сверстниками уже по-настоящему вырос, их любимым развлечением стало подглядывать в щели редкого забора осеменительной станции, находившейся рядом с детдомом.

Оставалось сделать один шаг до полной взрослости – девчонки в детдоме, особо из старших групп, поглядывали на ребят вполне недвусмысленно. Конечно же, новые ботинки в этой связи были очень и очень кстати...

К началу ноября выпал первый снег – выпал обильно, не только запорошив жухлую и подмерзшую уже траву на обочинах устланных деревянными досками мостовых в центре городка, но оставшись и в иных, не доступных предзимнему, постоянно дующему ветру, ложбинных местах, наметав в них покров по щиколотку. И, так же неожиданно, к Володьке явились гости: отбывшие в Кунгуре двухлетний срок заключения, они пришли прямо к школе, не дождавшись Вовкиного возвращения в детдом – точно в последний день занятий перед короткими ноябрьскими каникулами.

Какие уж тут уроки – ребята устроились прямо в школьном дворе за поленьями, сложенными в неровную, с осыпающимися краями, грудку, достали из-за пазухи бутылку водки. Потом – другую. Их было двое. Володька – третий. Пришлось по два стакана на брата. Ребята выглядели окрепшими, почти взрослыми. Разливая в стаканы водку, они снимали варежки, и из-под рукавов их новеньких утепленных курток показывались мускулистые запястья, сплошь покрытые зеленоватой вязью наколок. Тринадцатилетний Володька, будучи лишь на два года моложе,

рядом с ними смотрелся совсем мальчишкой. Каким он, собственно, и был бы, если не считать приобретенного им житейского опыта, достаточного иному на полную прожитую жизнь.

Один из них, Пашка, уже изрядно захмелев, полез во внутренний карман куртки, достал какой-то сверток. Аккуратно размотав тряпицу, он сунул ее обратно в карман. В руках его остался матово поблескивающий полированным лезвием самодельный нож с ручкой, набранной из разного цвета кусочков целлулоида и дерева.

– Держи финку, твоя... – протянул он подарок Володьке.

Щедрый подарок. Володька отвел руку с ножом в сторону и рассматривал его на почтительном расстоянии, когда внезапно, в нескольких шагах от них, возникла фигура директора школы. Атаас! Ребята метнулись к забору, перемахнули его и побежали через поле в сторону недалекой рощи, оцетинившейся острыми пиками голых ветвей в уже темнеющее ранними осенними сумерками небо. Впереди бежал Пашка, за ним Алеша Торопов. Володька едва успевал следом, хмельное сознание только отмечало гулкие удары сердца, казалось, слышные во всей округе – бум, бум, бум...

Перепрыгивая неглубокие овражки, он высоко вскидывал руки, рассекая воздух клинком зажатой в кулаке финки. Внезапно Пашка поскользнулся, Алеша налетел на него, рывком подался назад, сшиб почти нагнавшего их Володьку, плашмя опрокинулся на него – спиной на нож. Пашка поднялся, свернул в сторону, к Иртышу. Добежав до берега, он ступил на тонкий, едва родившийся лед, покрывший поверхность воды...

Хоронили ребят одновременно, с Володькой их смерть никто не связал, никто не дознался, что они были вместе. Его самого нашли на другой день в сугробе, почти замерзшим. Привезли на санях в детдом, оттирая в пути пену, покрывшую его щеки и подбородок – два стакана водки для мальчика оказались дозой, близкой к смертельной.

Один

Вовка рос быстро. К четырнадцати годам плечи его раздались, руки стали мускулистыми, крепкими. Почти вся одежда стала вдруг мала. Сказавшись семнадцатилетним, он завербовался на строительство комбайносборочного завода и, оставив навсегда детдом, уехал на целину.

Завод он не любил, на работу шел, заранее предвкушая обеденный перерыв, а там и конец рабочего дня. Но сам день для Володьки на этом не кончался – его ждал девятый класс вечерней школы. И – подруга, для которой дружба с Володькой завершилась таким жестоким отставанием по большинству предметов, что при всей условности требований, предъявляемых к ученикам вечерней школы (к тому же, расположенной у черта на куличках, вдали от наробразовского руководства), была она оставлена на второй год.

А в Володькиной жизни возникло новое увлечение, сыгравшее в дальнейшем немалую роль в его судьбе – спорт. Он играл в баскетбол, бегал на короткие дистанции, вошел в сборную команду района по подводному плаванию. Комсомольское начальство заметило его, появились отдельные поручения, потом назначили, разумеется, посредством выборов, секретарем заводской организации. И когда подошел срок, проводили в армию, снабдив в дорогу блестящими характеристиками и устроив в „ленинской” комнате попойку, которую потом долго и с чувством вспоминали в посылаемых ему с завода дружеских письмах.

* * *

Начало армейской службы стало для него совсем не таким, каким оно запоминается большинству новобранцев – карантин, жестокая муштра днем, внезапные побудки и марш-броски ночью, воскресенья, проведенные на полковой кухне у огромного чугунного котла перед гру-

дой склизлой, мерзлой картошки, которой, в очищенном виде, следует загрузить этот котел... У Рачихина было не так.

– Ты баянист, – сказал политрук, разглядывая Володькины характеристики. – Это хорошо. У нас здесь 45 семейных офицеров, значит – 45 жен. Бабы бесятся от безделья. Создадим хор, будешь им руководить.

Кроме офицерских жен, в хоре пели несколько солдат. Парни молодые, крепкие. А офицеры, между прочим, по многу лет проработали на радиолокационных станциях. Облучение на этих станциях считается незначительным, но это только считается – кто мог знать силу его лучше, чем жены этих офицеров. Так что пел хор хорошо, слаженно, и так же слаженно образовавшиеся в нем любовные парочки, и даже иногда треугольники, проводили достававшееся им урывками время, неподнадзорное ни начальству, ни главам офицерских семейств.

Легко предвидеть, к чему шло дело – начались скандалы, драки, доходило и до поножовщины. К счастью, из Свердловска поступил запрос на баянистов, и, спустя некоторое время, сержант Владимир Рачихин уже был приписан к воинской части, стоявшей в Челябинске и являвшейся, по сути дела, музыкальным ансамблем Уральского военного округа. Было в нем 16 баянистов, были певцы – тоже из солдат, проходивших срочную службу.

Но не может же полноценный хор – а начальство хотело его видеть именно таким – обойтись без женских голосов! И эти голоса были – принадлежали они хорошеньким вольнонаемным актрисам, что постоянно и естественно создавало в ансамбле взрывоопасную ситуацию. А потому, вскоре же после своего создания, был этот ансамбль расформирован, и последующие месяцы военной службы Рачихина полетели вовсе незаметно – в спортивной роте. Соревнования по легкой атлетике, первенство округа по гандболу, тренировки... а в перерывах между ними – самоволки.

Володьку всегда тянуло бежать, куда – не представлялось столь уж важным, главное – на свободу. В окно казармы, через туалет офицерского клуба, по водосточной трубе оружейного склада... И нисколько этому не мешала, и ни в какое противоречие с занимаемыми им комсомольскими постами, а позже и с принадлежностью к полковой партийной организации, куда он был уже принят, не входила Володькина совесть – просто он всегда знал, что какая-то часть жизни должна оставаться только для него, и ко всему, что выходит за ее рамки, он старался относиться легко, так, чтобы не очень этого замечать. Впрочем, сам он вовсе не задумывался, откуда у него эта тяга, повод же для самоволки был, как правило, одинаков – женщины, и подобной возможностью Володька старался не пренебрегать.

* * *

Случались иногда и вполне легальные отлучки из части – когда Рачихина посылали в командировки. Перед одной из них, в Златоуст, получил он из Сибири письмо: „...Дед твой, Володечка, родной отец твоей матери, живет в Миассе”.

За три дня до конца командировки, когда служебные дела завершились, взял он билет на поезд, протиснувшись через толпу солдатских шинелей и телогреек, пропахших махоркой и потом, пристроился на фанерном чемоданчике позади ближней к тамбуру скамьи, задремал.

А спустя несколько часов он стоял уже на пороге небольшого, добротной кирпичной кладки, домишки и осторожно, но настойчиво постукивал в дощатый настил двери подвешенной к ней подковой. Сухонькая старушка, открыв дверь, испуганно окинула взглядом фигуру в солдатской шинели... „Здравствуйте... я внук Василия Ивановича, сын Зои...” Старушка отступила на шаг, прислонилась к косяку. Потом Володька с трудом поднимал ее с земли, отрывая ее руки от своих сапог, а она продолжала, цепляясь за них, припадая к ним лицом, причитать:

– Миленький, прости меня, разлучница я твоей бабушки! Прости меня...

В доме было чисто, на окнах стояла герань, стены пестрели картинками и фотографиями в аккуратно сколоченных самодельных рамках. Присели к столу. И почти сразу дверь снова распахнулась: на пороге ее встал огромного роста мужик. Лицо его, шею, часть проглядывающей в распахнутом вороте рубахи груди покрывали кирпичные пятна румянца – дед возвращался из парной. Сейчас он пристально и хмуро смотрел из-под нависших седых бровей на солдата, и во взгляде его явно читалось – за мной, снова арест... Володька поднялся, сделал, ставшими вдруг чужими ногами, шаг навстречу ему.

– Я сын Зои...

Дед распахнул тулуп, сгреб Володьку в охапку.

– Внучек, миленький, свела все же судьба, – целуя его, приговаривал он сквозь слезы.

На столе появилась водка, в дом набежали соседи – почти все они состояли в каком-то родстве между собой, почти все отбыли в лагерях или в ссылке немалую часть своей жизни.

Пили долго. Пили и пели – про разлуку, про горе, про загубленную жизнь. И плакали. Молодая женщина под села к Володьке на колени, гладила его волосы, целовала. Муж ее уже тянулся к топору, быть беде... Разобрались, однако: приходилась эта девушка Володьке теткой, хотя и была всего на год старше его. К концу застолья, когда гости уже расходились, пошатываясь и обнимая за плечи друг друга, снял Володька с руки часы, отдал деду. А утром, проснувшись, увидел придвинутый к изголовью своей кровати стол, уставленный непечатными водочными бутылками – это дед благодарил его за часы, составлявшие в те годы великую ценность. Да к тому же как раз сегодня исполнялось Володьке 20 лет – а что еще мог бы подарить ему дед?

Они снова пили, и дед, проводя рукой по седому ежику волос, всхлипывал и после каждого стакана спрашивал Володьку:

– Внучек, ну объясни – почему вся наша жизнь проходит в страданиях? И я страдал, и бабушка твоя, и мать, и все тетки твои...

И снова плакал – здоровый восьмидесятилетний мужик, уложивший рогатиной не одного медведя в сибирских таежных чащобах.

Через год дед умер – так, безо всякой болезни. Говорили – просто устал жить. А Володька продолжал отбывать службу, не прерываемую больше никакими памятными по-настоящему событиями. Однажды, правда, случилось в наряде. Охраняя склады с аппаратурой, стоял он, зябко кутаясь в тяжелый тулуп, и прислушивался к ночным шорохам. Медленно, очень медленно тянулось время. Хорошо, что приходились на него такие дежурства нечасто: Володька боялся темноты, боялся одиночества – не диверсантов или грабителей, а именно этого – чувствовать себя крохотной песчинкой, погруженной в густую, вызывающую мерзкий озноб непонятного страха, пелену ночи. Услышав скрип смерзшегося снега под чьими-то ногами, он сбросил тулуп и поднял карабин. – Пальну раз для острстки, – мелькнула мысль, – а там – будь, что будет.

– Володя, ты где? – окликнул его знакомый голос.

Оказалось, приехал навестить его Генка Курячий, закадычный дружок, спортсмен, только что вернувшийся из отпуска. Недавно он выиграл чемпионат Уральского военного округа, съездил к родным на Украину, и сейчас его вещмешок топорщился бутылками с горилкой, шматами украинского сала, домашними пирожками и прочей снедью, которой снарядила его в дорогу родня.



До смены оставался час, оказавшийся вполне достаточным для походного застолья и обмена последними новостями. А новости были существенные – Генку пригласили в Киевский институт физкультуры, и он настойчиво уговаривал Рачихина подаваться туда же. Володька, вроде, был не против, но тогда его будущей профессией представлялась ему география. Да и не так уж часты были случаи, чтобы отпускали не дослуживших свой срок – а Володьке предстоял еще один, последний, год. К тому же, было время карибского кризиса, из военных частей перестали отпускать и солдат, и офицеров – даже в короткие увольнительные, не говоря уже об очередных отпусках...

И все же не дослужил Рачихин последнего года – на окружных соревнованиях тренер Ленинградского института физкультуры, объезжавший военные части в поисках талантливых спортсменов, предложил Володьке, имевшему к тому времени первые разряды по легкой атлетике и гандболу, поступать к ним. Друзья, собравшиеся на Володькины проводы, повторяли – вернешься в часть, руки не подадим.

Ленинград

И Рачихин не вернулся.

Как-то, за пару недель до вступительных экзаменов, сидел он на примятой влажной траве стадиона; концы наброшенного на голые плечи легкого полотенца полоскались на сильном ветру, ровно и упруго дувшем со стороны залива. Рядом на колышке болтались гимнастерка и галифе.

– Солдат, здравствуй!

Рачихин обернулся: перед ним стоял китаец, совсем молодой, низкорослый, в аккуратно застегнутой на все пуговицы полувоенной курточке и темно-синей фуражке. По-русски он говорил почти без акцента. Удивление Рачихина быстро рассеялось – китаец представился, объяснив ему, что четвертый год учится в Ленинградской академии художеств.

– Заработать хочешь?

Еще бы, деньги Володьке нужны были позарез: кормиться приходилось в столовых, иногда в ресторанах – когда собиралась компания, пришлось купить и кое-что из гражданской одежды...

Так Рачихин, еще не поступив в институт, обрел первую, действительно понравившуюся ему поначалу гражданскую профессию – он стал натурщиком. Китаец платил ему два рубля за час позирования – как позже оказалось, рубль он приплачивал Рачихину из своих личных денег, официальная ставка натурщика составляла 1 рубль в час. Позже уже, сблизившись по-дружески с Володькой и узнав, что тот – коммунист, он показывал ему дадзыбао, переводил их текст и довольно откровенно поругивал советский образ жизни: по бумагам, мол, у вас все правильно, а в жизни... Мысленно Володька соглашался с ним, но отмалчивался, не решаясь ни спорить, ни соглашаться вслух.

Возникали постепенно новые знакомства: Володька попал в довольно замкнутый круг художников-академиков, которые тоже приглашали его позировать – Томский, Аникушин. Работы прибавилось, появились лишние, вроде бы, деньги – но и уставать стал он сильно, доходя порою почти до предела своих сил после многочасовых тренировок: отстоять же еще три часа в классе казалось невозможным: тело деревенело, земля многократно увеличивала силу своего притяжения, и удержать руку, например, в заданном положении или просто сохранить требуемую позу стоило почти нечеловеческого напряжения. А утром – снова стадион...

Единственным просветом казалось тогда короткое знакомство с дочкой Аникушина. Володька стал часто бывать в его мастерской, роман с дочерью художника развивался в положенном ему русле, дело подходило к женитьбе. Экзамены в институт были к этому времени уже сданы, на кафедре легкой атлетики, куда Рачихин был принят, шли регулярные занятия. А судьба сделала очередной зигзаг – не без его, разумеется, участия: Володька, оставив позирование, стал актером миманса в Ленинградском театре оперы и балета. Режиссер труппы, коротко оглядев его спортивный торс, бросил на ходу – завтра будешь выносить Клеопатру!

– и Володька уже видел его быстро удаляющуюся в глубину кулис спину.

* * *

Теперь Рачихин стал прирабатывать к своей тридцатипятирублевой стипендии еще 60 рублей. Двенадцать раз в месяц он, в курчавом парике и коричневом гриме, держал на весу носилки с Клеопатрой; балерина была сухощава и стройна, веса ее Володька почти не чувствовал, но кружилась голова – от близости почти нагого женского тела, от пряного запаха макияжа, смешавшегося с потом танцовщиц. Или, стоя в толпе статистов, изображавших римлян, он, опершись на короткий боевой меч, поигрывал мускулами обнаженного торса, ловя углом глаза одобрительные улыбки, посылаемые ему из женской массовки.



Однажды, в перерыве между сценами, „Клеопатра” сама подошла к нему, спросила, улыбаясь, что-то незначашее, вроде: „Новенький, а ты меня не уронишь?”

Сейчас Рачихин не хочет называть ее полного имени – она давно уже носит звание народной артистки; тогда она еще не была даже „заслуженной“, иначе Володька оробел бы и не было бы, наверное, короткого и какого-то бесшабашного романа, когда все, вроде, нипочем, и не существует, ни завтрашнего дня, ни вчерашнего, а только тянется нескончаемое сегодня, в достоверность которого и поверить трудно.

По утрам в спортзале тренер, прознавший от самого же Володьки о его театральном романе, не то всерьез, не то в шутку выговаривал ему за ставшие вдруг снижаться результаты тренировки – опять, значит, ночью Клеопатру выносил?..

Людвиг – так на самом деле звали Клеопатру, была внучкой известного немецкого ученого Вольга, дом ее поразил Володьку своим великолепием, относящимся, скорее, к старому времени – у Аникушина, например, и обстановка, и весь интерьер выглядели чересчур модерно, а потому казались Володьке дешевыми и даже какими-то временными. Сама Людвиг, выезжая часто с театром в зарубежные гастроли (откуда привезла Володьке превосходное пальто и шведские сапоги, в которых он щеголял последующую пару зим, вызывая завистливые взгляды прохожих на ленинградских улицах), умудрялась еще и учиться на заочном факультете электротехнического института.

* * *

И все же театр Рачихин вскоре оставил, перейдя на работу в свой же институт кочегаром вечерней смены – так было удобнее, потому что ближе к общежитию, да и платили больше. А однажды, вернувшись с соревнований, он застал Людвигу с ее новым другом, чему неожиданно обрадовался, как будто перешагнул через очередной порожек своей жизни – и забыл о нем.

Но один уже быть не умел, а случайные, легко доступные связи перестали его занимать. Наверное, поэтому в зимнем доме отдыха почувствовал себя вдруг по-настоящему влюбленным, когда случайно столкнулся на занесенной снегом аллее с женщиной – в бежевых брюках и красной, отороченной мехом, куртке она промелькнула в группе возвращавшихся с лесной прогулки и, едва окинув его безразличным взглядом, скрылась за поворотом аллеи.

В тот день Володька в первый раз в своей жизни написал стихи – корявые, нерифмующиеся, но, как ему казалось, стоящие всех его спортивных результатов во всех соревнованиях, которые он когда-либо выигрывал. В кино во время сеанса кто-то подсунул ей эти стихи. И она сама нашла Володьку, нашла не на один день, а на весь следующий год. После двух суток, проведенных в чужой квартире на Выборге, откуда не вышли они за это время ни разу, был забыт муж, служивший в чине майора в военной академии; пятилетний сынишка прочно поселился в интернате.

Кончилось все скверно – хуже некуда. Денег не хватало, Рачихин снова вечерами позировал в Академии, ночи, проведенные в постели подруги, отдыха не приносили. И однажды утром на тренировке, перед самой поездкой на Олимпиаду в Токио, Рачихин, неловко оттолкнувшись во время прыжка, порвал на ноге связки. Это означало конец спортивной карьеры – а он оканчивал уже третий курс, оставалось только защитить курсовую работу.

Вернувшись из санчасти на квартиру, которую они теперь снимали, Володька побросал в чемодан бритвенный прибор, пару рубаш и спортивный костюм. Взглянув в последний раз на висящую в узком проеме между двумя шкафами картину, изображавшую его, Володьку, в виде спартамца, бросающего копье, – подарок китайца, приведшего Володьку в храм живописи, – он закрыл за собой дверь.

Закрыв навсегда – сколько потом подруга ни пыталась встретиться с ним, сколько ни упрашивала сойтись снова, хоть ненадолго, хоть на месяц – Володька к ней больше не вернулся. И это тоже был порожек, через который Рачихин переступил, чтобы забыть о нем – потому что порожек этот уже отошел к Володькиному прошлому, которое нельзя и не следует повторять.

Море

А потом настал Артек. Тот, который отняли когда-то у Володьки и который не выходил у него из головы все последующие годы. Молоденькая девушка-секретарша быстро оформила ему направление ЦК комсомола, намекнув при этом, что не против и сама прикатить к нему в гости, оставив, по крайней мере на этот период, мужа. Она же, собственно, помогла заменить первое выданное Рачихину направление – тренером в общество „Спартак” – на это.

И Володька впервые увидел море. Он стоял на берегу пустого пляжа – одна смена пионеров уже уехала, другая была в пути – и размышлял.

– Как же так, – думал Рачихин, вдыхая полными легкими удивительный, замешанный на каких-то неизвестных ему красках, запах моря, – такая красота... Существует ведь в природе такое! – и вспоминал свое детство, вспоминал Васюганские болота, грязный и шумный базар с бродящими бесцельно между грубо сколоченных деревянных рядов демобилизованными солдатами.

Он вспоминал своих тогдашних дружков, которых уже нет и которым никогда не довелось увидеть ни это море, ни планирующих над самой волной, бегущей к пологому берегу, белых чаек, ни вдохнуть запах винограда, приносимый порывами ветра со склонов недалеких холмов...

* * *

Работа физрука не казалась Рачихину трудной, скорее, она вообще не напоминала ему работу, а стала как бы перерывом, приятным и неустойчивым, в нескончаемой череде дней прожитой им к тому времени жизни. Полтора года в Артеке прошли не то чтобы незаметно – они были наполнены новыми, недлинными и ни к чему не обязывающими сторонами романами или знакомствами, о возможности которых он раньше и не задумывался: гостями лагеря бывали космонавты. Володька даже сдружился с Гагариным и Комаровым – оба они погибли, но это было уже спустя годы.

Приезжали летчики-испытатели – Мосолов, Коккинаки... приезжали Кабалевский, Пахмутова Аля – тогда уже прочно вошедшая в полосу своей всесоюзной известности. Приезжали ленфильмовцы на съемки – и Рачихину досталось сыграть короткую роль – это было его первым знакомством с кино, и, наверное, с этого времени стал он подумывать, что хорошо бы со временем найти себе работу на студии.

Но вместо этого Володьке разрешили отложить защиту диплома в институте еще на год, заменив его направлением в международный молодежный лагерь „Спутник”, невдалеке от Гурзуфа.

Делегации, отдыхавшие в этом лагере, постоянно менялись – поляки, немцы, чехи. Они приезжали и уезжали, большую часть их составляли девушки, и Володька уже начинал чувствовать себя неким Казановой – настолько свободны и непринужденны были установившиеся в „Спутнике” нравы. Переспав, по крайней мере, с семьей или восьмью девушками из польской группы и получив почетный диплом города Лодзи, Володька однажды решил – хватит.

Москва

Той осенью он пытался поступить в МГУ на философский факультет. И, наверное, поступил бы, если бы не подвела шпаргалка с цитатой из „Анны Карениной”, которой Володька хотел подкрепить заданную тему – „Образ женщины в русской литературе”. Пришлось пода-

вать документы снова – на этот раз на экономический, куда он был принят сразу и зачислен на второй курс – с учетом пройденных им дисциплин в Ленинградском институте физкультуры. Помогло, конечно, и спортивное прошлое – несмотря на порванные связки, удалось ему показать неплохой результат по прыжкам в высоту на отборочной университетской комиссии.

Правда, оставалась еще задолженность по математике – ее предстояло ликвидировать в течение семестра. Подумав немного, Рачихин попросился на первый курс – будучи уже зачисленным в университет, он мог начинать учиться сначала. И начал – вместе с сыновьями и дочерьми знаменитостей, составлявших значительную часть его группы: здесь были отпрыски маршала Еременко, партийного вождя Мазурова и многих других чинов и знаменитостей – элиты советского общества.

Все они были много моложе Рачихина, которому уже исполнилось 26, все они пришли прямо со школьной скамьи, и поначалу Володьке казалось, что он все еще в Артеке и окружают его школьники; только странно было, что не они у него, а он у них должен просить время от времени помощи – сказывались годы, проведенные без учебников и, чего скрывать, вообще почти без книг, до того ли было...

Соседка Рачихина по парте оказалась дочкой генерал-полковника, бывшего заместителя Штеменко по Генеральному штабу. С 61-го года он, выйдя на пенсию, преподавал в Академии Генштаба курс оперативного искусства. Дочь его звали Ритой. И на втором курсе она стала женой Рачихина. А до этого были скандалы с ее родителями, уход из дома, неудачный аборт, закончившийся тяжелым воспалительным процессом – когда Володька, устроившись в магазине чернорабочим, тратил получку на цветы, заполнившие всю палату, где лежала Рита.

Свадьбу справляли в Загорянской, на даче. В свадебном генерале нужды не было – хватало действительных представителей советского генералитета, пришли генерал армии Батов и маршал Малиновский... Еще запомнил Володька в числе гостей Марка Бернеса, шахматиста Бронштейна – все они были, вроде бы, друзьями отца Риты.



Владимир и Рита Рачихины. Москва, 1967 г.



С дочкой Ариной

А через год, в 67-м, родилась Аринушка. В ЗАГСе долго удивлялись – откуда, мол, выкопали такое имя, регистрировать не хотели, предлагая заменить на „Ирину”.

* * *

С деньгами стало совсем туго. Помощь, оказать которую были всегда готовы Ритины родители, стесняла. Студенческих стипендий и случайных приработков едва хватало и до рождения Аринушки. Поэтому так кстати оказались летние поездки со студенческими строитель-

ными отрядами. Строили в Якутии водный канал, нужны были тысячи и тысячи рабочих рук, которых было не набрать ни в самой Якутии, ни среди завербованных. Володьку послали с 5-го курса, назначив неосвобожденным парторгом отряда численностью в 300 человек.

Работа была тяжелая – физическая и монотонная, а потому особого следа в памяти не оставила, составив из трехмесячной череды рабочих смен и скверной водки местного производства нечеткую, туманную расплывающуюся полосу отдельных эпизодов.

Запомнилась, к примеру, эпидемия холеры. Почему-то считалось, что уберечь от нее вернее всяких лекарств сможет парная. Поэтому стремились в баню при любой малейшей возможности. И опять пили водку, запивая ее местным же пивом. А месяц спустя, при чистке чанов на пивном заводе, обнаружили в одном из них скелет, который, как заключила авторитетная комиссия, составленная из работников милиции и представителей районной здравоохранительной системы, принадлежал рабочему пивоваренного цеха, пропавшему без вести некоторое время назад.

Еще запомнился недолгий, но чреватый опасностью для жизни, флирт с девчонкой, работавшей в расположившейся неподалеку от общежития аптеке: ее друг открыто угрожал оторвать Володьке, а заодно и бывшей своей невесте, головы, после чего пришлось Рачихину укладывать в кровать здоровенный топор-колун. Так и отходил ко сну – одной рукой обнимая Верушку, а другой нащупывая холодящий ладонь кованный металл своего защитного оружия.

* * *

Наверное, от этой связи следовало отсчитывать первые трещины, возникшие по возвращении Володьки, в семейной жизни Рачихиных.

Казалось, ничто не могло мешать их благополучию – кооперативная квартира на Ждановской, купленная на якутские заработки, создавала ощущение уюта и прочного достатка. Образовался круг постоянных гостей, собиравшихся у Рачихиных дома. Многих из них можно было даже называть близкими друзьями, поскольку темы, обсуждаемые ими во время и после застолий, нередко были весьма рискованными, такими, которые с чужим тебе человеком вряд ли стоит поднимать. Каждый из них был хорошо, можно даже сказать, прочно устроен в жизни, а попадались среди них и актеры, и художники, и ученые – вроде тех, к кому стал причислять себя и Рачихин, закончивший университет и направленный работать (не без помощи тех же друзей) во ВНИИПО.

Институт был занят разрешением нескончаемых проблем управления социалистической экономикой. Темой же Рачихинского диплома было управление научными исследованиями в США, и Владимиру Венедиктовичу, как величали на службе новоиспеченного ученого секретаря его коллеги, была вполне очевидна непреодолимая пропасть, разделяющая теоретические изыскания академика Глушкова, руководящего этими исследованиями, с возможностью внедрения результатов этих исследований в социалистическую практику.

В общем-то, нельзя сказать, что Рачихин стал прозревать лишь сейчас, став ученым секретарем в группе академика Никифорова. Со второго курса университета приняли его инструктором физкультуры в Госкомитет по науке и технике, и четыре года работы там не прошли для него даром – помимо солидного приработка к студенческим стипендиям, оброс он надежными знакомствами, уровень которых позволял ему надеяться на благополучное устройство в жизни, мало зависимое от могущественного отца Риты и его окружения.

Но, кроме этого, получил он доступ к источникам информации, обычно простому народу не оглашаемой, – из частных бесед с сотрудниками Комитета, из случайно услышанных обрывков чужих разговоров нетрудно было заключить, что огромную армию чиновников, поставленных руководить научными исследованиями в масштабе страны, в первую очередь, интересуется собственный престиж, непререкаемость собственных суждений (разумеется, не выходящих

своей смелостью за рамки партийной директивы), возможность еще в какой-то раз выехать в зарубежную командировку, предпочтительно – не в Монголию или Польшу, но в Женеву или Париж, и только потом – интересы отечественной науки. Хотя, именно этими интересами и прикрывалась любая корысть.

Все это отлично понимали, но лицемерие, ставшее нормой в официальных отношениях друг с другом, а тем более с начальством, которое ничего другого и не ожидало от своих сотрудников... с подчиненными организациями, стремившимися сохранить любую ценой добрые отношения с опекающим их Комитетом – все это не только не мешало, но делало удобными и стабильными связи, наладившиеся между всеми участниками десятилетиями устоявшейся системы.

* * *

Рачихин принял правила этой игры, соблюдал их неукоснительно, и потому карьера его развивалась, если не стремительно, то вполне стабильно и благополучно. Когда комитетские приятели предложили Рачихину новую работу – должность проректора по хозяйственной части Московского авиационного института – отказываться он не стал, а напротив, с готовностью ухватился за возможность расстаться с вроде бы научной карьерой и заняться, как ему тогда казалось, живой и активной деятельностью.

Поначалу он, действительно, пытался применить полученные учебой и опытом предыдущей работы знания, взявшись разработать для МАИ систему научного управления институтом: он часами корпел над схемами взаимоотношений отдельных служб института, приглашал с лекциями для его сотрудников академиков Канторовича, Аганбегяна, Глушкова, Артоболевского.

Академики соглашались довольно охотно – не от избытка времени и не от особых симпатий именно к этому институту, но потому, что, как ни странно, были зависимы от Рачихина: используя деловые и приятельские связи в Госкомитете по науке и в других весомых организациях, он умел добыть импортную обстановку и оборудование для кабинетов и приемных, без которых престиж руководимых академиками учреждений безусловно страдал. Эти же данные Рачихина послужили, в частности, поводом к его близкому знакомству с председателем Интеркосмоса академиком Петровым – что, в свою очередь, еще в большей степени расширило его собственные возможности и связи.

Вместе с тем, не оставлял Рачихин и поездки со студенческими отрядами. Теперь эти поездки уже вовсе не были связаны с физической работой. Руководство отрядами предполагало персональную ответственность – за все, что происходило или могло произойти с участниками отряда, за результаты их работы, за правильную, в понимании начальства, организацию их досуга. Но зато и денег они приносили больше, позволяя одновременно отвлечься на месяц-другой от хозяйственной деятельности, которая Рачихину начинала уже приедаться. И от семьи, в чем Володька сам себе боялся поначалу признаться. Но было это правдою – для него самого внезапной и огорошивающей.

Он безумно любил Аринушку и помнил о ней каждый из 30 дней сибирской отлучки. Ему казалось, что он так же крепко любит Риту, но чувство к ней вдруг перестало мешать ему в знакомствах с другими женщинами. Связи эти оказывались всегда мимолетными и завершались для обеих сторон безболезненно – до тех пор, пока в госкомитетском доме отдыха „Спутник” не свела его судьба с Женей, шестнадцатилетней поварихой, поставленной на выпекание сдобных булочек к столу чиновных гостей кафетерия.

Рачихину шел тогда тридцатый год, разница в возрасте казалась огромной, и знакомство их ограничилось игрой в пинг-понг и прослушиванием пластинок в поселке Ивантеевке, в доме, где жила она со своей сестрой. Записи были западными, самыми новыми, тогда-то

Володька впервые услышал диск рок-оперы „Иисус Христос – Суперстар”, что, в сочетании с его влюбленностью в Женю, придало этому вечеру щемящую сердце окраску чего-то несбывшегося, несостоявшегося в его, Володькиной, жизни.

* * *

Прошло два года. Вернувшись однажды из очередной поездки в Сибирь, Рачихин нашел дома записку от Риты: „Жду тебя в Судаке, приезжай отдыхать”. Раздумывая, стоит ли ему ехать в Крым или дожидаться приезда жены здесь, он механически листал страницы записной книжки – в любом случае, коротать время в одиночестве не хотелось, друзья о его приезде еще не знали, телефон молчал. Одним из первых попался номер Жени – записанный карандашом, он был почти неразличим на пожелтевших, затершихся листках блокнота, хранящегося в ящике письменного стола с тех пор, как нужные повседневно телефоны были переписаны в новую, поблескивающую импортным лаком книжонку.

Володька набрал загородный номер. Трубку сняли почти сразу. И так же сразу он узнал Женин голос. Спустя пару часов они уже сидели за столиком в кафе, где условились встретиться, и, стараясь делать это незаметно, разглядывали друг друга. Жене исполнилось восемнадцать, но, казалось, она совсем не повзрослела – такая же девчонка, те же рассыпавшиеся по плечам рыжеватые волосы, не знающие еще заботливой руки приличного парикмахера и беспощадных, лишаящих жизни, химических смесей. Казалось, и плащишко на ней был тот же самый, отечественного производства из прочной темно-синей материи, топорщившейся на сгибах ее худых рук.

Коротко подстриженные ногти, колечко из белого металла с дешевым камешком, скорее даже – стекляшкой. Рачихин же, успевший после дороги принять душ и переодеться – в костюме-тройке, в велюровой шляпе и пальто, пошитом в комитетском ателье из дорогого, матово-переливающегося мелкими зубчиками, ратина – чувствовал себя не просто старше ее на много-много лет, но как бы пришедшим из другой жизни, даже из другого пространственного измерения. Собственно, так оно и было.

В эту ночь Женя осталась в квартире Рачихиных. На другой день она наскоро оформила себе десятидневный отпуск и, под причитания матери, убитой тем, что дочка ее связалась с женатым, да к тому же много старше ее по возрасту мужчиной, вернулась в город.

Потом была неделя в Сочи, в частном домике, который им удалось снять чудом, в самый разгар курортного сезона, прямо на берегу моря. И опять Володьке казалось, что есть только настоящее, что о будущем можно не задумываться. Да и каким оно могло быть, их будущее – встречи украдкой, упрёки матери, неприятности на работе – у нее, и, особенно, у самого Рачихина...

Вернувшись спустя неделю, они решили заночевать у Рачихина, чтобы утром первой же электричкой Женя смогла уехать к себе. Повернув ключ в замке, Володька потянул на себя дверь – она приоткрылась лишь настолько, насколько позволяла внутренняя цепочка. Рита была уже дома. Она сбросила цепочку и вопросительно посмотрела на Рачихина, ожидая, что услышит какое-то объяснение, позволившее бы считать, что ничего между ними не произошло, что разминувшись они по какому-то недоразумению, заслуживающему разве что шутивого разбирательства и таких же шутивых взаимных упрёков, и что жизнь продолжается – устоявшаяся, стабильная, рассчитанная на долгие-долгие годы. Рачихин, поначалу немало потерявшийся, не придумал ничего иного, как, приняв обиженный вид, – не следовало ехать в Судак, не дождавшись его, – почти не здороваясь, пройти к себе в комнату.

Рита, зажав щеки ладонями ставших вдруг непослушными рук, прошла в спальню. Убедившись, что дверь ее плотно закрыта, Рачихин вернулся на лестничную площадку: там из открытых дверей лифта испуганно выглядывала Женина мордашка. По ее загоревшим за

минувшую неделю щекам скатывались слезы, смешиваясь с подтеками дешевой синеватой туши. Володька провел ее в свою комнату, уложил, не раздевая, на диван. К 6 часам утра, когда пора было отвести Женю к первому поезду метро, открылась дверь спальни – на пороге стояла Рита и молча глядела на замерших у выхода Рачихина и Женю.

* * *

Так закончился семилетний брак Володьки и Риты. Развод был спокойный, без эксцессов. Каждый из них чувствовал, что уходит из их жизни что-то невосполнимое, но никто не решился сделать первым шаг примирения. Или – не захотел.



Женя-«Ершик»: теперь она у Володьки главная

Шел октябрь 73-го года. Рачихин уехал жить к Жене – на работе, а он к тому времени перешел в аппарат Комитета по науке и технике в отдел систем управления, с жильем обещали помочь, но не сразу. Рита постаралась с головой уйти в кандидатскую диссертацию, она работала над темой, связанной с системой образования в США.

Время от времени Рачихин виделся с дочкой. Аринушка, уцепившись за его руку, шла рядом по протоптанной в еще неубранном снегу, выпавшем на московские бульвары, тропке и декламировала по памяти строчки, которым когда-то научил ее отец: „Хороша была Танюша, краше не было в селе...”

– Папка, – спрашивала она, – а почему он убил Танюшу? Зачем же он ее – кистенем?

Рачихин терялся.

– Ну, может быть, случайно...

– Стихи красивые, а Танюшу жалко, – завершила эту тему Аринушка.

Сменили 5 или 6 квартир – сдавать, не расписанным законным браком, никто не хотел. Потом Рита сама предложила разменять их кооператив: ей досталась отдельная двухкомнатная, Рачихину – девятиметровая комната в общей квартире. И вскоре обнаружилось, что Женя беременна – уже на третьем месяце.

На свадьбу к ним пришли старые друзья, собралось человек 70, может, больше. Все они привыкли знать, что жена Володькина – Рита, все любили ее, все были против их развода. Однако к Жене отнеслись тепло и с пониманием приняли ее, осознав неизбежность и необратимость состоявшегося.

„Мосфильм”

Летом опять была Сибирь – вместо отпуска. Поездка оказалась удачной – привез Рачихин 7 тысяч рублей, что позволило выехать из девятиметровой комнаты в просторную квартиру на Варшавском шоссе, снятую уже по крайней необходимости: в его отсутствие родилась Катюшка.

Рачихин снова отстаивал длинные очереди в молочных пунктах, потом несся на службу, потом – по магазинам, где хозяйствовали знакомые или знакомые его знакомых: там можно было из рук в руки, минуя прилавки, получить приличные продукты, необходимые Жене, заметно ослабевшей после родов.

В один из таких визитов, кажется, это было в „Елисеевском”, в подсобном помещении, где Рачихину упаковывали в непрозрачную пластиковую сумку стеклянные банки с паюсной, он столкнулся с бывшим сокурсником по университету Дудиным, бывшим футболистом, а теперь – заместителем директора картины на „Мосфильме”. В тот вечер Рачихин заявился домой за полночь, предупредив, разумеется, по телефону Женю, чтобы не тревожилась.

Несколько часов, что они просидели за столиком ресторана Дома кино, переехавшего недавно на Васильевскую, и потом там же, внизу, в пивном баре, Дудин уговаривал его оставить нынешнюю службу и переходить к ним, на „Мосфильм”. Рачихин согласно кивал головой, подливая себе и приятелю из запотевшей бутылки „Столичной”, но, может быть, и не вспомнил бы никогда об этом разговоре, отнеся его суть к чему-то, хоть и притягательному, но в нынешнем положении Рачихина неосуществимому, – такому, каким когда-то представлялся ему Артек, в который отняли у него путевку. Но спустя несколько дней, Дудин позвонил ему, чтобы сообщить, что имел разговор с начальником производственного отдела „Мосфильма”, и тот готов встретиться с Рачихиным.

На студии Рачихину сразу понравилось: они шли с Дудиным по длинным коридорам административного корпуса, а навстречу им или, обгоняя, проносились погруженные в свои дела десятки сотрудников и визитеров студии, важно дефилировала чиновного вида группа. Все составлявшие ее были в великолепно сидящих на них костюмах-тройках, явно не отечественного пошива и с солидными кожаными портфелями; центр этой группы – мордастый, с покатыми плечами и арбузообразным животом – явно подавлял остальных своею значимостью.

– Гляди, – Дудин острым локтем подтолкнул в бок Рачихина, – кинокомитетчики, коллеги – почти в полном составе...

Еще занятнее показалось Рачихину в съемочных павильонах, особенно в одном из них, где Птушко, незадолго до этих дней, заканчивал работу над „Русланом и Людмилой”.

А потом состоялся разговор с будущим начальством. После недолгих расспросов, удовлетворившись наличием у Рачихина диплома экономического факультета МГУ и его заявлением о тяге к творческой работе, начальство бегло полистало вложенные в тоненькую папку, присланные уже сюда, отдельные странички из личного дела Рачихина и предложило ему должность, аналогичную дудинской – заместитель директора картины. Из чего Рачихин заключил, что вопрос был проработан и решен еще до его прихода – инстанциями, с которыми „Мосфильм” должен сохранять самые добрые отношения. Дудин оказался человеком слова.

* * *

Первые съемки, на которых досталось работать Рачихину, оказались „Сибириадой”. Кончаловский уже заканчивал работу над фильмом, но оставалась одна из самых трудоемких в подготовке сцен – пожар на буровой. К съемкам ее в Башкирии готовились больше двух месяцев: завезли и установили настоящую вышку; восемь камер с разных точек снимали пожар, который в реальных условиях, возникнув от случайной искры, уничтожает буровую за 15 минут – так, что никакой корреспондент не успеет запечатлеть это внушительное зрелище.

Здесь же пришлось сжечь 700 тонн нефти, несчетное число раз настоящие пожарные по команде режиссера шли в огонь, и потом еще и еще – Кончаловский требовал новых и новых дублей. На этих съемках Рачихин сдружился с ним, и Андрон, доверившись, неоднократно засылал его, выделив из числа 8 заместителей директора картины как самого надежного и пробиного, в управления и министерства, от которых зависело получение инвентаря, оборудования и других, порою, совершенно неожиданных вещей, составлявших декорации съемок.

Потом была работа с Олегом Бондаревым, снявшим когда-то „Мачеху”. Режиссером он оказался совершенно беспомощным; фильм, снимаемый по скверно выписанному сценарию недавно умершего Всеволода Кочетова, разваливался на глазах и не без участия всей группы. Но в главной роли была занята Ирина Скобцева, картину следовало спасать. И тогда Бондарева убрали, за фильм взялся Бондарчук. Перетасовали съемочную группу, заменили и название фильма, взяв новое – „Молодость с нами”.

Сын донского казака и еврейки-матери, Бондарчук, у знавших его достаточно близко или долго работавших с ним, вызывал впечатление некоей присущей ему раздвоенности: безапелляционно требовательный и властный, на съемочных площадках становящийся подобным военачальнику, внутренне он остро ощущал недостаточность своего художественного дара, понимая, что ему никогда не сумеет достигнуть высот, в которых творил, например, Тарковский.

Не была ни для кого секретом и история получения им звания: Сталин, увидев в его исполнении Шевченко (тогда Бондарчук еще учился в классе Герасимова, и фильм Савченко был одной из самых первых его работ), произнес „Хорошо играет... Кто этот народный артист?” И на другой же день в центральных газетах был опубликован Указ Президиума Верховного Совета, закрепляющий законодательным порядком пожелание великого вождя.

Большая часть фильма, который досталось спасать Бондарчуку, должна была сниматься в помещениях научно-исследовательского учреждения – так требовал сценарий. Рачихин, пользуясь старыми связями, быстро договорился с Комитетом по науке, оттуда последовало несколько звонков, и вскоре, в одном из подведомственных Комитету учреждений, на несколько месяцев прекратилась всякая деятельность – кроме той, которая была непосредственно направлена на обеспечение производимых в нем съемок фильма.

Бондарчук оценил возможности Рачихина и на банкете, завершившем приемку фильма госкомиссией, подошел к его столику, положил руку на плечо и сказал – достаточно громко, чтобы слышали все сидящие здесь: „Будем работать вместе!” Не знал тогда ни именитый

режиссер, ни сам Рачихин, что следующая их совместная работа, до которой должны будут пройти годы, окажется для Рачихина завершающей его путь в советском кинематографе.

А пока Володька, получивший новую для себя должность, ставившую его в один ряд с действительно творческими работниками, – он теперь назывался ассистентом режиссера – продолжал трудиться в разных съемочных группах „Мосфильма” с Гайдаем, Климовым, Кольцовым... На съемках „Прощания с Матерой” – в зарубежном прокате эта картина стала называться „Фароувел” – он сблизился дружески с Климовым. Элем же и предложил ему сняться в небольшой роли пожегщика – так называлась профессия уничтожителей огнем, то есть „пожиганием”, того, что еще оставалось от старых русских деревень.

Рачихин доставал для этих съемок корабли на воздушной подушке – настоящие, выделяемые по нарядам министерства, ведавшего речным хозяйством, пригонял грузовики, тракторы... Вся техника доставлялась в Сибирь – под Красноярск или в Подмосковье, где шли основные съемки. А когда, по сюжету картины, реки – отведенным руслом – затапливали сожженные села, когда с грохотом хлынувшие первые волны устремились в низину и обрушились на обуглившиеся остовы домин, заглушая стрекот установленных на холме камер, Володька, стоявший неподалеку от Климова, отчетливо видел, как тот тер тыльной стороной ладони ставшие влажными глаза, отворачиваясь от группы окружавших его ассистентов...

В этот вечер много пили. Климов, утративший официальную сухость, отгораживающую его обычно от членов съемочной группы, спрашивал Володьку: „Знаешь ли ты, что тебе довелось работать с гением?” на что, не менее пьяный, Рачихин возражал: „Это я – гений!”

Наутро Лева Дуров, ставший невольным рефери в этом споре, только качал головой: „Ну, вы вчера давали...”

Климов в те дни пил чаще, чем обычно – третий год на полках кинокомитетских складов пылилась его „Агония”, другие работы были редки, от каких-то отказывался сам.

* * *

Время от времени жизнь „Мосфильма”, ставшая уже для Рачихина рутинной, прерывалась событиями трагического характера – как будто сюжеты снимаемых здесь фильмов переставали быть придумкой сценариста и врывались в действительность, принося собою неожиданные трагедии и смерти. На памяти Рачихина началось это как раз с „Матеры” – снимать картину должна была Лариса Шепитько при операторе Чухнове и превосходном художнике Фоменко.

Распутин, по книге которого снимался фильм, с трудом согласился на экранизацию. Лариса успела снять только одну сцену – со священным деревом. Рано утром все они ехали в мосфильмовской „Волге”, направляясь на съемки. За рулем сидел бывший лейтенант ГАИ, оставивший свою службу в милиции ради возможности быть ближе к покорившему его искусству кино. Шедший по встречной полосе огромный КРАЗ не сумел войти в изгиб шоссе.

Вызванные аварийные команды несколько часов резали автогеном то, что осталось от „Волги”, вызволяя из ее сплющенного кузова останки пассажиров – Шепитько, Чухнова, Фоменко, заместителя директора картины, с которым Рачихин был знаком шапочно и фамилии его никогда не помнил, и самого шофера...

Сценарий „Матеры” наскоро переписали, поручив съемки фильма Климову.

А потом утонул Женя Карелов – талантливый режиссер, успевший снять „Нахаленка”, „Двух капитанов”; еще несколько его работ были сделаны в рамках партийного задания „Мосфильму”, а потому особого следа в кинематографе не оставили. В тот год, разойдясь с женой, оставившей его, поскольку любил Женя выпить и пил много, он сошелся с одной из самых способных художниц „Мосфильма”, красавицей Таней, которой и самой в личной жизни не

было везения – один за другим у нее погибли два мужа. Выйдя из очередного запоя, Карелов уехал в Гагры, в Дом творчества. В первый же вечер с актером Евгением Матвеевым вышли они на пляж, отплыли метров за сорок, не больше, в море. Из этого заплыва Женя не вернулся.

Татьяна, узнав о гибели третьего мужа, вскрыла себе вены. Отец ее, режиссер студии научно-популярных фильмов, случайно заглянул в ванную комнату, обнаружил истекающую кровью дочь, вызвал „скорую”. Таню спасли, а через неделю с отцом ее случился смертельный инфаркт. Рачихин помогал хоронить его. И потом, после нелюдных поминок, они долго сидели вдвоем с Татьяной.

Она плакала, подливая, не глядя, себе и Володьке из коньячной бутылки; струйки коричневой жидкости проливались на скатерть, не попадая в рюмки, а Татьяна, вдруг успокаиваясь, вспоминала первого своего мужа, штурмана дальней авиации, его рассказы о полетах через Северный полюс, в Америку и о встречах с „летающими тарелками”, о которых экипаж самолета докладывал и советскому, и американскому правительству: прямо по курсу самолета, рассказывал он, возникали и так же внезапно исчезали огромные, обтекаемой формы, предметы, не похожие ни на что земное.

Этих встреч накопилось в его памяти немало: собираясь в отставку, он написал о них книгу, отнес в Воениздат. Спустя несколько недель ему предложили занести в издательство черновики и оставшиеся у него копии рукописи – якобы для работы над ними. Больше ни рукописи самой, ни черновиков к ней он не видел. А вскоре... вскоре состоялся тренировочный полет, ставший последним и для него, и для всех других членов экипажа.

* * *

Однажды в Кинокомитете кто-то окликнул Рачихина. Обернувшись, он увидел махавшего ему от другого конца коридора начальника производственного отдела „Мосфильма”.

– Готовься, будешь работать с Бондарчуком, – сообщил он Рачихину.

На студии давно поговаривали, что Бондарчук затевает съемки советско-итальянского фильма, часть группы должна будет работать в Мексике; сами разговоры о возможности зарубежной поездки уже вызывали ажиотаж, конкуренцию предполагаемых участников группы и тайную, иногда становящуюся явной, борьбу между ними, принимавшую, порой, форму безобразных эксцессов и интриг.

– Ну вот, не прошло и трех лет! – приветствовал его на последовавшей за этим разговором встрече Бондарчук. – Будешь исполнять обязанности второго режиссера, заграндокументы на тебя готовятся. А пока изучай, как совершалась революция.

Фильм ставился о жизни Джона Рида, американского журналиста, чьи коммунистические взгляды и симпатии привели его, вместе с супругой, в Россию первых большевистских лет. Сценарий был написан еще лет десять назад и лежать бы ему на полках еще не один год, поскольку в числе главных действующих лиц его были Троцкий, жуткой памяти однофамилец сценариста Ежов, Каменев, чьими руками в действительности творилась подготовка и совершение российской революции. Но вот появились „РЭДС” – „КРАСНЫЕ” Уоррена Битти, и Суслов лично дал сценарию добро.

Пытались договориться с Госдепартаментом Соединенных Штатов, чтобы позволили отснять отдельные сцены в Нью-Йорке и Питтсбурге, но получили отказ – шел 80-й год, отношения между двумя странами оставляли желать много лучшего, а тут – фильм об американском коммунисте... Решили довольствоваться Мексикой, тем более, что и там Джон Рид оставил по себе определенную память своим пребыванием в не самое лучшее для этой страны время.

* * *

И Рачихин стал исследовать большевистскую революцию. Он рылся в закрытых архивах Ленинской библиотеки, обнаруживая в старых газетах материалы, содержание которых порою потрясало: например, откуда ему было раньше знать о дружбе Ленина с Бенито Муссолини, о часах, проведенных будущим вождем будущей революции за биллиардом с основателем фашистского движения. Или о том, как лысеющий и уже не очень молодой Ульянов терялся где-то в Закопане с девчонками, а Крупская нанимала частных детективов на его розыски...

В Ленинграде, с помощью директора Эрмитажа академика Пиотровского, Рачихин разыскивал тех, кто в 17-м, мальчишками, бежал следом за матросскими батальонами, шедшими по улицам города в направлении Зимнего.

Шедшими, чтобы штурмовать его... Но вдруг выяснилось из их свидетельств, что штурма-то, в общем, никакого не было, потому что бывшие мальчишки более или менее достоверно, но помнили, в каком числе, кто и через какие ворота вбегал во дворец, как убито было несколько восставших солдат брошенной с крыши бомбой, как разъяренные матросы растерзали нескольких кадетов и кого-то из женского батальона, пытавшихся оказать хотя бы символическое сопротивление набегавшим толпам черни.

Потом Рачихин ездил в Ригу, в Таллин – в поисках старых автомобилей и автобусов.

А Бондарчук тем временем уже готовил съемки в Мексике. Вскоре от него пришла первая телеграмма, которую Рачихину показали приятели из отдела внешних отношений: "Срочно прилетай". Других выездных документов у Рачихина не было, соответствующие службы хранили молчание, и он продолжал крутиться между архивами, автомобильными базами и музеями.

В Ленинграде, в гостинице, его застал звонок из отдела внешних отношений – пришла вторая телеграмма от Бондарчука, сдвинувшая каким-то образом с места колесики и винтики тонкой машины, скрытой от посторонних глаз, – деятельность которой связана с выбором и направлением, или ненаправлением того или иного соработника за границу. На этот раз ребята из отдела внешних отношений, составлявшие собою малые детальки той машины и сами достаточно далекие от пульта управления ею, коротко сообщили – через день летишь в Мексику.

* * *

Еще в период работы с Гайдаем над фильмом „За спичками“, съемки которого велись вблизи советско-финской границы, шоферы, обслуживающие группу и набранные из местных автобаз, показывали Рачихину тропки, которыми уходили в сторону Финляндии беглецы. Из этих рассказов следовало, что не всех их отлавливали и возвращали – с закрученными за спину руками, иногда истекающих кровью от полученных огнестрельных ран, – назад, на свою территорию. Кто-то уходил навсегда, следы его обычно терялись, и лишь изредка, слушавшие передачи иностранного радио, угадывали в коротких информационных сообщениях искаженно звучащие имена своих бывших соотечественников, на которых органами милиции был недавно объявлен всесоюзный розыск.

Для Рачихина понятие „заграница“ оставалось все еще связанным лишь с рассказами коллег, чья служба предполагала и, время от времени, позволяла зарубежные вояжи... ну и со шмотками, привозимыми ими оттуда – в которых, кстати, у самого Рачихина недостатка не было благодаря приличным заработкам Жени, ставшей одной из самых успешных парикмахерш в модном салоне на Сивцевом Вражке. И не то, чтобы заграница казалась ему совер-

шенно недостижимой – был ведь упущенный по его собственной вине шанс поездки в олимпийский Токио.

В общем-то, никогда он не терял веры, что раньше ли – позже ли, но доведется ему жить где-то в другом мире. При этом представлялся ему почему-то ни какой другой город, но Сан-Франциско. А сынишка, родившийся три года спустя после Катеньки и названный Венедиктом, – в память погибшего на фронте деда, – когда отец, взяв его на руки, подносил к большой карте мира, вывешенной в прихожей, откликаясь на просьбу показать, где Америка, всегда тянул ладошку с растопыренными пальчиками и прикрывал ею Лос-Анджелес. Почему?..

* * *

В два часа ночи в дверь постучали – на пороге стоял шофер мосфильмовской машины, везущей Рачихина в Шереметьевский аэропорт. Он же помог спустить вниз с десятков чемоданов и коробок, часть которых надлежало передать Бондарчуку от его супруги Скобцевой. В других были плотно упакованы сувениры и подарки иностранным членам съемочной группы: хохлома, богато иллюстрированные томики-путеводители по Кремлю, по Третьковской галерее и Эрмитажу, соседствовали с буханками ржаного хлеба, с банками каспийской сельди и таллинской кильки, а также с икрой – красной и черной, предназначавшимися для своих.

Весь этот багаж большей частью уже не первый день громоздился в прихожей, заблаговременно свезенный в квартиру коллегами или их женами в ожидании отъезда Рачихина; что-то успела наспех собрать Женя, на пару дней раньше, чем он сам, узнавшая о дате его отъезда. Перегруженная „Волга”, в которой с трудом уместились, кроме Рачихина, Женя и семилетняя Катюшка, мягко тронулась с места, развернулась, выехала на Серпуховку в сторону Садового кольца.

И за спиной Рачихина, как он почему-то знал уже – очень надолго, если вообще не навсегда – осталась его трехкомнатная квартира, полученная взамен предложенной ему поначалу не здесь, на Плехановской, а где-то далеко в Ясенево. Досталась эта квартира с помощью откровенной взятки размером в 500 рублей, врученной им самолично райисполкомовскому чиновнику за ужином в ”Арагви” – трапеза тоже составляла часть этой взятки.

А в квартире, на руках у тещи, засыпал Венька. Обычно он шел в постель легко, зная свое время. Но в эту ночь, взбудораженный десятками визитеров, то и дело возникавших на пороге квартиры с кулками и пакетами, из которых выглядывали горлышки бутылок шампанского или марочного коньяка, непрерывно взрывающимся залиистой трелью телефоном, да и самим отцом, старавшимся в любую свободную минуту потискать его в объятиях, он решительно не хотел засыпать. А может и он, привычный к частым командировкам Рачихина, чувствовал что-то необычное и даже роковое для себя именно в этом отъезде отца?

Мексика

Многочасовой перелет с континента на континент не показался ни долгим, ни скучным. Еще перед трапом самолета, во время посадки, обратил Рачихин внимание на группу рослых, спортивного склада ребят, по виду которых было нетрудно заметить, что международный Шереметьевский им не в новинку. Лицо одного из них показалось Рачихину настолько знакомым, что он поначалу растерялся, чувствуя свою беспомощность в попытках угадать – кто же этот парень с короткой стрижкой, постоянно поправляющий замшевую куртку, небрежно наброшенную на слегка покатые плечи.

В самолете группа, на которую Рачихин обратил внимание при посадке, разместилась на несколько рядов позади него; в кресле рядом сидел молодой мексиканец, как позже выяснилось, – аспирант Плехановского института, а значит, каким-то образом сосед Рачихина по

Серпуховке. Впереди, в рядах кресел, составлявших привилегированный первый класс, летел кинематографический министр Ермаш, направлявшийся в Гаванну укреплять деловые и творческие контакты подведомственного ему Комитета с соответствующими кубинскими учреждениями.

Когда самолет набрал высоту, и табло с предупреждающей надписью погасло, Рачихин, отстегнув ремень, поднялся с кресла и, сделав несколько шагов по узкому проходу, остановился возле ряда, занятого группой, как он понимал, спортсменов. В центре ее, активно жестикулируя и стараясь перекричать равномерный гул моторов, проникавший в салон самолета, парень, показавшийся Рачихину столь знакомым, что-то говорил своим попутчиком.

Остановившись рядом, Володька открыто уставился на него, стараясь поймать его взгляд – после чего станет возможным вроде бы случайный вопрос, направленный к выяснению, где же они могли встречаться... И в этот же момент пришло узнавание: конечно, это был он, Ленька Осипов, бывший сокурсник по МГУ, а потом – многократный чемпион Европы и Олимпийских игр, старший тренер ЦСК ВМФ, капитан второго ранга. А Осипов, едва взглянув на него, приподнялся с кресла и завопил: „Володька, ты ли?!“

Не виделись они лет десять, может, больше, да и до того друзьями не были, встречаясь лишь время от времени и перекидываясь парой слов, – привет, как дела... – то в университетском коридоре, то на соревнованиях и, совсем уже редко, в общих компаниях. Теперь Осипов в качестве главного тренера вез в Мексику советскую олимпийскую сборную по водному поло. Заместителем к нему был придан его же дружок, тоже неоднократный олимпийский чемпион, признанный лучшим нападающим мира, Саша Шидловский.

Был еще один заместитель тренера – своею низкорослостью, желтоватой кожей лица и золотыми коронками, симметрично поблескивающими меж прокуренных зубов, он разительно отличался от остальных членов группы. В звании полковника КГБ он не в первый раз сопровождал за рубеж советских спортсменов. Ребята же, целиком положившиеся на авторитет своего тренера, внимания особого на него не обращали, раз и навсегда определив ему кличку „сморчок“, передаваемую от группы к группе, от поездки к поездке.

Вскоре за счет достаточного числа свободных мест в салоне они пересели таким образом, чтобы в их кругу оказался и Рачихин, и его сосед-мексиканец. В полете много не пили, ограничившись разносимыми стюардессой бокалами с шампанским – правда, в количестве неограниченном. Зато условились, что в ближайшие дни приедет к ним Рачихин погостить в Олимпийскую деревню – до того, как команда, отыграв положенное число встреч, перелетит на Кубу, чтобы продолжить свои выступления уже там.

* * *

В Мексико-сити Бондарчук в первый же день прилета, не дав Рачихину и пару часов, чтобы привести себя в порядок, – только душ и смена дорожной одежды – потащил его на студию знакомить с иностранными участниками съемочной группы.

– До начала работы 5 дней, отдохнуть успеешь, а сегодня – первая общая встреча, – объяснял он, пока казавшийся Володьке огромным, как корабль, „Шевроле“ вез их по нескончаемым улицам города. Смертельно уставший в перелете Рачихин рассеянно слушал его наставления, что-то отвечая на вопросы, связанные со студийными делами, и иногда, поверх приспущенного бокового стекла, пытался рассмотреть пронесившиеся мимо фасады зданий, витрины магазинов, почти сплошь занимавшие первые их этажи, уличную толпу, пестрящую яркими красками легкой одежды.

В этот вечер Рачихин познакомился с Франко Неро, приглашенным на роль Джона Рида – в фильме должна была также играть его бывшая жена Ванесса Редгрейв, но что-то не состоялось, и предназначавшаяся ей роль была отдана другой, тоже западной актрисе.

Следующие дни обещали быть свободными, и первый из них Рачихин употребил на закупку гостинцев, которые мексиканец-аспирант обещал передать Жене в Москве – туда он возвращался через пару месяцев. Денег у Рачихина оказалось неожиданно много – по приезде ему выдали десятидневное жалованье, из расчета 500 песо, т. е. около 20 долларов, в сутки.

Кто-то из группы, сносно владевший испанским и знавший местные магазины, провез его по ним, и к вечеру один из московских чемоданов Рачихина был плотно утрамбован – в первую очередь, превосходной детской одеждой и обувью, а также предназначенными для Жени кожаной и вельветовой куртками, джинсовым костюмом, сумочкой из настоящей крокодиловой кожи, солнечными очками и прочим, нелишним для привыкшей уже хорошо одеваться столичной жительницы, товаром.

Много позже Рачихин выяснил, что мексиканец так и не доставил эти подарки его семье – то ли побоялся навестить их после побега Рачихина, а, скорее всего, счел, что никому до этого чемодана нет теперь дела, и не лучше ли сбыть его содержимое через секретаршу декана ее друзьям, охочим до товара с зарубежными этикетками и наклейками.

* * *

Когда до начала съемок оставалось три дня, Володька, прихватив с собою трех мексиканских девчонок, с которыми он успел познакомиться на студии и которые взялись быть его добровольными гидами, нагрянул к ребятам в Олимпийскую деревню. Нагрянул вполне вовремя и кстати – банкет по поводу первого места, выигранного командой в панамериканских играх, был в самом разгаре. До следующих игр оставалась неделя, а потому спортсмены, расслабившись, пили.

Пили много, во главе со своим тренером и его помощниками, – за новые победы, за дружбу, за Москву, за Рачихина и доставленных в деревню девчонок. Володька помнил потом, как, предавшись общим с Осиповым воспоминаниям, начал вдруг поругивать по каким-то поводам советские порядки и как гэбешный „сморчок” ставший вдруг трезвым и внимательным, трепал его дружески по плечу, подливал „Столичную” в его рюмку и повторял:

– Хорошо, Володечка, говоришь, оч-ч-чень интересно говоришь, давай отдельно встретимся, потолкуем наедине!..

На что Осипов, услышавший его напряженный шепот, кричал – так, чтобы всем сидящим рядом было слышно:

– Да заткнись ты, отцепись от человека, брось дурака валять – наш он, свой! – и на всякий случай оттаскивал Рачихина от „сморчка” в другой угол зала.

В одну из таких минут Володька, сам от себя такого не ожидая, вдруг стал объяснять Осипову, что останется он в этой поездке и в Советский Союз не вернется, скорее всего, будет жить в Сан-Франциско, куда он готовился переехать всю свою сознательную жизнь. Осипов плакал, прощально прижимая Володьку к своей груди, как бы понимая непреклонность его решения, но вслух не переставал говорить – не дури, я за пятнадцать лет весь мир объездил, лучше России нет для нас места, только там можно жить русскому человеку... Отснимешь фильм, вернешься – все для тебя будет, купаться будем в лучших бассейнах, париться в лучших саунах...

Володька тоже плакал, наполняя вновь и вновь свою и Осиповскую рюмки и приговаривая – нет, не вернусь...

Сквозь вязкий дурман алкоголя он точно понимал, что каждого произнесенного им слова, прими их несведущие люди всерьез, вполне достаточно, чтобы посадить его тут же, забрав прямо с банкета, в самолет и отправить назад, в Москву (о том, что было бы потом, по возвращении, и задумываться не хотелось). И каким бы близким и заслуживающим доверия ни

стал казаться ему в той поездке Осипов, что стоило тому предположить, что Рачихин попросту провоцирует его...

А Осипов на следующее утро как бы начисто забыл о пьяных Володькиных откровениях – во всяком случае, последовавшие за той ночью полтора месяца съемок не дали повода Рачихину предположить, что кто-то следит за ним более пристально, чем за другими советскими членами группы. И Володька, успокоившись, и сам перестал вспоминать о своем разговоре с Осиповым, положившись, то ли на его порядочность, то ли на количество выпитого ими, возможно, заглушившее все происходившее на банкете в сознании его участников. То ли на какую-то особую его, Осипова, осведомленность в Володькиной судьбе...

Начались съемки. Работали по четырнадцать часов в день – столько, сколько позволяло солнце, в свете которого снимались массовые сцены. Советская группа включала 22 человека, в массовке же не было ни одного, понимавшего по-русски, и Рачихин, облачившись в солдатскую форму, бежал впереди статистов, изображавших наступающие батальоны, показывая им направление, на которое были нацелены объективы камер.

– Здесь падаем, здесь ползем, теперь поднялись – все за мной! – кричал он массовке, и статисты-мексиканцы, послушно понимая язык жестов, устремлялись за истекавшим потом Рачихиным.

– Молодец! – хвалил его Бондарчук, а на сороковой день съемок, когда предстояло работать с самой значительной батальной сценой, оставив его рядом с собой, на мостках, откуда наблюдалось все поле с развертывавшимися на нем событиями, к обычной похвале добавил:

– Учись, скоро будешь снимать сам.

Перед началом съемок Рачихин сунул второму оператору в руки свой „Зенит”.

– Сними пару кадров на память, нас с Бондарчуком, остальных...

– Ты чего, – удивился Бондарчук, – погибаем, что ли?

– Да так, перед батальей, пусть останется память.

Эту пленку Рачихин потом передал мексиканцу-аспиранту вместе с чемоданом, чтобы отдал ее Жене – так она и затерялась.

Потом отработали еще несколько сцен, простых, не актерских – где-то проезжает телега, где-то скачут кавалеристы. Съемки подходили к концу. Как-то в один из завершающих дней Рачихин заглянул рано утром в комнату еще не проснувшегося директора картины.

– Сегодня день свободный, хочу мотануть в Мексико-сити: пора готовить подарки семье.

– Езжай, остановишься в „Хилтоне”, там номера пока за нами, в случае чего – заночуешь.

Не прозевай завтрашние съемки – начинаем не позже 11 утра.

Когда Рачихин вышел из гостиницы, на плече его болталась красная брезентовая сумка, в которой уместился двухтомничек Пушкина, трусы-носки и фотоаппарат. Во внутреннем кармане спортивной куртки топорщился необтрепанными и потому жесткими еще уголками новенький паспорт гражданина СССР – его специальное издание, выдаваемое командируемым за рубеж.

На тротуаре, у самого входа в гостиницу, он увидел Левана Шенгелая, художника фильма. Выглядел тот утомленным – может, сказывалось напряжение жесткого графика съемочных дней, может, прожитые им 65 лет. Хотя, похоже было, спать он с вечера вообще не ложился.

– Чего это он?.. – подумалось Рачихину, а Шенгелая уже спрашивал его, цепко придерживая за оттянувшийся рукав куртки:

– Куда ты?

– Да вот, собрался в Мексико-сити за гостинцами... Шенгелая разжал пальцы, рукав куртки распрямился, приняв свою прежнюю форму и плотно облекая холодящей синтетической, не успевшей еще согреться тканью, руку Рачихина. Пожевав губами, он задумчиво уставился на Володьку.

– Говоришь, за гостинцами?..

Рачихин, не отвечая, пожал плечами и, резко повернувшись, направился в сторону автобусной остановки.

– Ну-ну... Успехов! – донеслось ему вслед.

В пути

Дальше события развивались совсем не так быстро, как это поначалу виделось Рачихину. Сойдя с автобуса, он купил у уличной торговли ведро свежих, едва распустившихся, роз и направился к дому единственного человека в Мексико-сити, кому он мог еще довериться – пожилой русской женщине, приглашенной в студию на предварительный монтаж отснятого.

Когда-то, еще в 45-м, муж Любови Викторовны, посол Мексики в СССР, увез ее сюда, за тридевять земель от родного дома. Год спустя он неожиданно умер. Промыкавшись следующие пять лет – без профессии, без языка, практически без средств, поскольку наследники мужа сумели через суд отобрать все имущество, кроме дома, в котором она осталась жить – она вышла замуж за местного архитектора, но и тот вскоре умер.

Сейчас, предупрежденная за несколько дней, она уже ждала Рачихина. Наскоро перекусив, вышли в город. Сначала навестили аспиранта из Плехановского – чтобы переслать через него в Москву фото пленки с последними кадрами, снятыми Рачихиным в Мексике: очень хотелось хоть так сохраниться в памяти подрастающих ребят. Потом взяли такси – согласно разработанному плану следующие день-два Рачихин должен был провести в доме близкой приятельницы Любови Викторовны, жены местного литератора, находившегося в те дни в отъезде...

Этот дом Рачихин оставил лишь к исходу третьего дня – когда уже все газеты пестрели сенсационными сообщениями о пропаже сотрудника советской съемочной группы.

Рачихина искали – и мексиканская полиция, и сотрудники КГБ, прикомандированные к советскому посольству, и сами члены группы: оставалась все еще надежда, что не сбежал Рачихин насовсем, а по молодости лет забурился, прощаясь с границей, к местной подруге и, не рассчитав силы и утратив счет времени, вместо нескольких часов задержался на все три дня.

Частично это предположение было справедливо, потому что, действительно, возник у него короткий роман с укрывавшей его женой мексиканского литератора – короткий, но заставивший Рачихина на какое-то время забыть о цели пребывания в ее доме. В нечастые минуты просветления хватался он за карманного формата русско-английский словарь, подаренный ему на прощание Любовью Викторовной, беспомощно перелистывая его страницы с микроскопическим шрифтом, составлявшимся в слова почти незнакомого ему языка.

По отпечатанным на глянцевой бумаге крупномасштабным картам, собранным в атлас Северной Америки, он пытался определить будущий маршрут перехода границы. Иногда ему казалось, что местом перехода должен стать Техас, потом становилось очевидным, что самым безопасным и надежным было бы попытаться уйти через районы, граничащие с Калифорнией, – где-то под Сан-Диего.

* * *

А тем временем в газетах ежедневно появлялись фотографии Рачихина с призывами к читателям сообщить в советский консулат любую информацию, связанную с его исчезновением; с тем же призывом обращались к населению вещающие на испанском, португальском и английском языках радиостанции. Оставаться в Мексико-сити становилось более чем опасным. И ранним утром четвертого дня Рачихин вышел из крохотного „Рено“, на котором он был доставлен приютившей его подругой Любовью Викторовной, в район американского посольства (но не к самому посольству, а за несколько кварталов – подъехать ближе ей казалось непредусмотрительным).

Последующие три часа, с шести утра и до девяти, пришлось провести в крохотной кофейне – посольство было еще закрыто, а вид тысячной толпы, осаждавшей его ворота, казался ошеломляющим. Рачихин заказывал новые и новые чашечки турецкого кофе, себе и молодому голландцу, которого он окликнул на улице и затащил сюда, чтобы не быть одному – тот тоже ждал открытия консульского отдела.

Ровно в 9 они сумели протиснуться к первому кордону, состоявшему из мексиканских полицейских и казавшемуся самым опасным: голландец, открыв свой паспорт, уже готовился миновать пост, когда Рачихин обнял его за плечи и, на ломаном английском, сообщил проверяющим – мы вместе. Второй проверочный пост состоял из американских солдат с болтающимися за спиной короткоствольными автоматами. Здесь Рачихин уже не побоялся достать из кармана свой, переплетенный в синий ледерин, паспорт – американцы, по его расчетам, выдать перебежчика советским не могли.

Женщина, которой в окошечко протянул он паспорт и составленное им, с помощью словарика, прошение о предоставлении политического убежища в Соединенных Штатах, улыбнулась ему, как старому знакомому – по-видимому, она уже слышала об исчезновении Рачихина и, вроде бы, даже ждала, когда же он, наконец, объявится здесь, в посольстве. Предложив Рачихину присесть на деревянную, с сиденьем, покрытым добротной кожей, скамью, она ненадолго удалилась. А спустя пару минут вместе с нею в приемной появился невысокий, лысоватый, с коротко стриженными усиками, человек – совсем такой, каким Рачихин в детстве представлял себе шпионов, засылаемых в его страну иностранными разведками.

– Так это вы – Рачихин? – обратился он к сидящему обняв колени ослабевшими вдруг руками Володьке. Говорил он по-русски чисто, без акцента, что еще больше укрепило Рачихина в его представлении о том, как должны выглядеть шпионы. – Ну, идем!

Он провел Рачихина через турникет, отделявший приемную часть от остальных посольских помещений. Здесь содержимое Рачихинской сумки вытряхнули на стол, тщательно осмотрели и вернули хозяину. Затем его провели в служебный кафетерий, где вскоре появился огромного роста, одетый в цивильное, американец. Используя помощь Германа, – так звали говорящего по-русски сотрудника посольства, происходившего из семьи старых русских эмигрантов, – он обрушил на Рачихина град вопросов, почти не делая между ними перерывов и не особо вслушиваясь в ответы Рачихина.

Потом, в небольшой конторке с одним столом и приставленными к нему стульями, Герман помогал Рачихину заполнить десятки граф в нескончаемо длинных анкетах, водил его в соседнюю комнату фотографироваться. А к исходу дня сообщил, что главный эмиграционный офис в Вашингтоне на сегодня работу свою закончил и последующие два дня он тоже будет закрыт в связи с национальными американскими праздниками.

– Как же так? – растерялся Рачихин. – А куда мне деться?... Меня же ищут!

– Знаешь, – предложил Герман, немного подумав, – едем ко мне.

Оставить здание посольства оказалось не так просто – вокруг него уже кружили легко узнаваемые Рачихиным чиновники советского консулата и вполне открыто дефилировали наряды мексиканской полиции. И те, и другие внимательно вглядывались в лица выходящих из посольства сотрудников и визитеров. Значит, следовало искать другой путь. Герман вывел его через гараж к задним дверям здания, откуда они, незамеченными, мимо каких-то мусорных свалок, задними дворами пробрались к посольскому дому, где жил Герман – в десяти минутах ходьбы от территории самого посольства.

Ночь прошла без сна – они пили водку и поверяли друг другу истории своих жизней, что для русского человека, оказавшегося на чужбине, является как бы лучшим способом проведения выдавшегося досуга. К утру изрядно уже захмелевший Герман неожиданно предложил:

– Не стоит тебе ждать здесь три дня – найдут. Добирайся-ка ты сам, так надежнее. И не через Сан-Диего, иди к техасской границе – там спокойнее.

Утром, взяв у Рачихина 20 долларов, он съездил к автовокзалу и привез билет, с помощью которого надлежало Рачихину оставить ставший для него смертельно опасным город. Везти его к автобусу на своей машине Герман побоялся и вызвал такси.

* * *

Трое последовавших за этим суток, когда Рачихин вспоминал их, виделись ему как разрозненные кадры отрезков ленты, с которыми работают в монтажной, составляя фильм. Он менял автобусы, пересеживаясь с маршрута на маршрут, на коротких остановках покупал бутылочки кока-колы и запивал ею бутерброды, заботливо упакованные ему в дорогу Германом. Когда в автобусах появлялся контроль, он, единственный в салоне европеец, в светлом спортивном костюме и с яркой, красного цвета, сумкой, протягивал билет проверяющему, стараясь не смотреть на него, чтобы не быть узнанным.

К исходу третьих суток, когда до границы оставалось 26 миль, автобус остановился перед шлагбаумом. Мексиканский пограничник, пожилой, с морщинистым лицом, в мешковато сидящей форме, войдя в автобус, окинул быстрым взглядом сидящих в нем немногих пассажиров и направился прямо к Рачихину – Паспорт! – коротко бросил он, протянув руку.

Открыв синюю книжицу на странице, где предполагался штамп визы, позволяющей въезд в США, он жестом пригласил Рачихина выйти из автобуса. „Все! – понял Рачихин, – сейчас дадут выпастся – за все трое суток...”

В небольшом домике, стоявшем прямо у шлагбаума, офицер, сличивший фотографию в паспорте Рачихина с его физиономией, сел за пишущую машинку, заправил разграфленный лист бумаги и долго что-то впечатывал в него, время от времени листая странички лежащего на столе паспорта.

Несколько раз Рачихин пытался прервать его занятие; путая немногие знакомые ему английские и мексиканские слова, он повторял: Амиго, но Раша, плиз, Америка! – и, приставляя указательный палец к своему виску, показывал, что с ним, Рачихиным, будет, если его вернут советским. Кончив печатать, офицер вывел Рачихина на улицу, где их уже поджидал потрепанный джип с сидящим в нем офицером полиции.

– Оружие есть? – спросил офицер по-английски. Рачихин вопрос понял и только развел руками. Офицер пригласил его сесть на переднее сиденье, и машина резко рванула с места.

* * *

Дорога была пустынной, только силуэты деревьев и столбов, с провисшими между ними нитями почти не видных в ночи проводов, мелькали по одну сторону, другая сторона была вовсе ровной и утопала в густой тьме. Володька косился на кобуру, болтавшуюся на бедре водителя, и думал: выхватить пистолет, грохнуть из него – и бежать дальше, к границе.

Вдруг он понял, что направление, в котором движется джип, ведет не назад, в Мексику, в чем он был почти уверен, а к северу. Побоявшись поначалу поверить, что такое возможно, он пытался сообразить по расположению звезд, в какой стороне находится граница. Потом, не выдержав, обратился к водителю:

– В Америку?

Тот, не отвечая, лишь утвердительно кивнул. И правда, минут через десять где-то впереди возникли контуры высокого здания. Окна всех его этажей светились – это был американский „Хилтон”. А значит – Америка. От которой Рачихина теперь отделяли всего две мили, разрезанные поперек своей протяженности пограничной рекой Рио-Гранде.

Следующий час Рачихин провел в помещении погран-пункта. Мимо проходили возвращавшиеся из своих поездок американцы. Они косились на Рачихина, уверенные, что задержан

он не иначе как за попытку пронести через границу наркотики – что еще можно было предположить, глядя на молодого, не похожего на мексиканца, парня в легкой, не по сезону, одежде, с болтающимся на шее фотоаппаратом и колечком на среднем пальце руки, подаренным Рачихину мексиканкой при их прощании. Потом с Рачихинского паспорта снова что-то печатали.

Ночь кончилась, за окнами стало совсем светло. Казалось, про Рачихина забыли – он продолжал оставаться в той же комнате, куда привел его сопровождавший в машине пограничник. Сменился состав дежурных – кто-то из уходящих кивнул в сторону Рачихина и произнес несколько испанских слов заступившему на смену офицеру. Тот присел за стол, взглянул мельком на стопку бумаг, поднялся и вышел.

Рачихин остался один. Он уже не думал об опасности насильственного возвращения, возможно, по-прежнему грозящей ему. Сейчас самым главным стало – уснуть. Сквозь смеженные веки он замечал, как в комнату входили и выходили какие-то люди; иные из них были в пограничной форме, иные – в штатском. Через какое-то время – он сам не знал, сколько прошло от его прибытия сюда – вошел офицер, который чем-то привлек внимание Рачихина.

Страхнув напозавший сон, Рачихин вскинул голову, всмотрелся и понял: этот офицер отличался от других своим европейским, скорее всего, испанским типом лица, выше среднего ростом, общей подтянутостью, не присущей его коллегам-мексиканцам. Рачихин решился. Он поднялся навстречу вошедшему.

– Сэр, пи-пи... – обратился он к офицеру, дополняя жестах смысл своей просьбы.

Они вышли во двор, офицер указал ему на небольшое бетонное строение, стоявшее неподалеку, может быть, в десятке метров от двери, ведущей в служебные помещения заставы. Войдя в уборную, Рачихин нашарил в боковом кармане сумки пакетик с двенадцатью металлическими советскими рублями, вытащил одиннадцать штук, едва уместившиеся в ладони. Выйдя из кабины, он подошел к офицеру, поджидавшему его, и, убедившись, что на них никто не смотрит, стал совать серебряно поблескивающие ликами Ленина кружочки в руки офицера, убедительным шепотом и настойчиво повторяя – Америка... Америка. Офицер улыбнулся, сунул монеты в карман кителя и подвел его к шлагбауму. Из будки выглянул пограничник:

– Сорок песо, – произнес он, почти не взглянув на Рачихина. Рачихин протянул бумажку достоинством в 500 песо и помахал рукой, показывая, что сдачи ему не надо. Шлагбаум, закрывавший дорогу, поднялся, и Рачихин, осторожно ступая по бетонному настилу перекинувшегося над рекой моста, направился в Америку.

Этот километр, отделяя Рачихина от другого берега, казался ему сейчас равным всему пути, проделанному от Мексико-сити до Рио-Гранде: его не оставляло ощущение, будто в спину ему уже наведен ствол карабина и вот-вот раздастся выстрел, кладущий конец и его путешествию, и всей его, как теперь становилось ясным, промелькнувшей мгновением, жизни. Где-то краем сознания понимал Рачихин, что не было смысла мексиканским пограничникам стрелять в него прямо здесь, на смычке двух границ – вполне бесхлопотно могли они избавиться от него, отправив назад, в Мексико-сити. И все же...

На другой стороне моста Рачихина уже ждали... и опять, судя по лицам, это были мексиканцы, правда, одетые в униформу, отличную от той, с которой Рачихину уже довелось столкнуться на только что оставленной стороне реки. В помещениях заставы, куда ввели его, Рачихин заметил прислоненный к углу флаг с неизвестным ему рисунком. Флаг этот никак не походил на хорошо знакомый звездно-полосатый американский, и Рачихин еще больше засомневался – Америка ли это?

Потом уже, спустя час-другой, занятые оформлением его бумаг двое офицеров из кубинских беженцев, – это они показались Рачихину похожими на мексиканцев – объяснили, что каждый штат Америки имеет свой флаг, и этот, в частности, олицетворяет государственность Техаса.

– Ого, – удивлялись кубинцы, – первый раз в этом месте советский переходит границу!

Они с любопытством рассматривали Рачихина, пытались его допросить, с соблюдением всех формальностей, что оказалось почти невозможным, ибо ни английским, ни испанским Рачихин в достаточной степени не владел, чтобы ответить на десятки хитроумных вопросов, заготовленных американскими властями для перебежчиков. Вызвали переводчицу – жену американского поляка, жившую с пятидесятых годов на ранчо мужа где-то под Сан-Антонио.

Пока ждали ее, Рачихин прикорнул. Настоящий сон не шел, несмотря на дикую усталость... а, может быть, именно из-за нее. Рачихин вышел в туалет. Оправившись, возле самого выхода он наступил на валявшийся на кафельном полу американский доллар. Рачихин поднял его, расправил, аккуратно сложил и запрятал в куртку – американская земля встречала его сувениром, который мог явиться добрым предзнаменованием к ожидавшей его здесь жизни.

* * *

Наконец, приехала переводчица – с мужем и детьми, которых она, после первых же минут знакомства, отправила в „Хилтон” за едой для Рачихина. С ее помощью все формальности вскоре были закончены. К вечеру на заставе появились новые офицеры. Их было двое, и этих уже ни с кем перепутать было нельзя – они были явно американскими парнями, точно такими, какими их представлял себе Рачихин по „Великолепной семерке” и другим фильмам, которые просматривал он, в свое время, в закрытых для широкой публики залах Кинокомитета.

– Поехали! – после короткого знакомства скомандовал один из них.

– Куда? – Рачихин рассчитывал, что хоть в эту ночь ему удастся, наконец, отоспаться – пусть даже здесь, на голой скамье, только бы больше не двигаться, не слышать ничьих голосов, задающих ему нескончаемые вопросы...

– Едем в Лоредо.

Лоредо оказался небольшим городком, разделенным границей на две части – американскую и мексиканскую. Сначала остановились у дома, где жил один из сопровождавших его офицеров, вошли в него. Хозяин, представив Рачихина своей жене, ушел в другие комнаты, а спустя несколько минут вернулся – уже в простой, выдавшей виды ковбойке, застиранных джинсах, опоясанных широким ремнем с небрежно засунутым за него револьвером.

Вышли, подъехали к следующему дому – там все повторилось в той же последовательности: знакомство с женой, переодевание... После чего Рачихину было сообщено, что предстоит дорога длиной в 150 миль, ведущая в Сан-Антонио, где Рачихина должны передать иммиграционным властям для определения его дальнейшей судьбы.

Едва отъехали от Лоредо, машина остановилась – дорогу преграждал патруль: человек десять, одетые в кожаные куртки, в широкополых шляпах и с автоматами наперевес: они выглядели уже совсем в точности пришедшими с экрана героями вестерна. Успевший почти мгновенно уснуть на отведенном ему заднем сиденье, Рачихин теперь, согнав сон, с любопытством разглядывал их. Спустя минуту джип тронулся дальше, и он снова задремал.

Растолкали его, когда машина уже стояла у подъезда чьего-то дома – как выяснилось вскоре – начальника местной иммиграционной службы. Время приближалось к десяти, офис был закрыт, и, коротко посоветовавшись, опекавшие Рачихина офицеры потрясли ему на прощанье руку и, бросив короткое „Гуд лак!” исчезли в наступающей ночи.

Рачихина провели в дом, представили жене хозяина, его молоденькой дочери, не выпускавшей из рук грудного ребенка. Не спрашивая согласия Рачихина, хозяин налил ему в глубокий стакан водки, плеснул сверху апельсинового сока, бросил в него несколько кубиков льда. Для Володьки, не спавшего уже четверо суток, эта доза „скрюдрайвера” была более чем достаточной, чтобы почувствовать – еще мгновение, и он, забыв о приличиях и необычности своего нынешнего положения, свалится прямо здесь, в гостиной – и пропади все пропадом...

А хозяева не уставали расспрашивать его о России, и Володька дарил им какие-то советские открытки и значки, завалывшиеся в его сумке, и совершенно уже переставая соображать, отвечал им по-русски. Хозяева смеялись, подливали в его стакан водку и разглядывали полученные сувениры.

Наконец Рачихин оказался в отведенной ему комнате. Стянув носки, он уже представлял себе, как, приняв впервые за четыре дня дороги душ, укладывается в холодящую свежими простынями кровать... Но в дверь постучали: хозяин извиняющимся тоном объяснил Рачихину, что, по-видимому, оставаться ему здесь нельзя.

Рачихиным овладело полное безразличие – ему уже стало все равно, куда его теперь везут эти двое, облаченных в кожаную униформу, патрульных, как долго будет длиться поездка... Под жестоким ливнем, образовавшим в считанные минуты глубокие лужи, в которых почти на треть своей высоты утопали колеса джипа, они подъехали к загородному мотелю. Один из сопровождавших вышел первым, внимательно осмотрел подступы к зданию гостиницы, обошел его вокруг, вошел внутрь и почти сразу поманил жестом из остававшихся приоткрытыми дверей сидящих в машине.

Рачихину была подготовлена просторная комната, расположенная на втором этаже в самом конце коридора, упиравшегося в глухую стену. Приняв душ, он натянул на голову одеяло, которым была застлана широченная кровать, пытаясь укрыться им от звука включенного телевизора: офицеры, выложив пистолеты на стол и забросив на него же ноги, смотрели, откинувшись в креслах, какой-то ковбойский, кажется, фильм.

А Рачихин вопреки чудовищной усталости опять не мог уснуть – ему казалось, что стоит ему задремать, офицеры накинут ему на голову подушку, приставят к ней свои огромные револьверы и... Он понимал абсурдность своего страха, но при каждой попытке погрузиться в сон с удивительной настойчивостью возникала в его воображении все та же картина. Он вздрагивал, открывал глаза, уставившись в мутноватые отсветы проникавших под одеяло бликов экрана работающего телевизора, вслушивался в звуки, доносящиеся извне.

В 7 утра Рачихина растолкали – уснуть ему все же удалось, он сам не заметил, как. Спустились в ресторанчик, работавший при мотеле круглые сутки. Омлет, запеченный с сухим итальянским пармезаном, и чашка горячего кофе взбодрили Рачихина – ровно настолько, чтобы он начал наконец осознавать перемену в своем положении: он уже находился под опекой американских властей, и жизни его ничего не угрожало.

Офицеры, по-видимому, так не думали – последующие восемь суток прошли в непрерывной смене отелей, в которых они ночевали вместе с Рачихиным. Когда один из них дремал, второй внимательно наблюдал за происходящим вокруг, то неожиданно и резко открывая ведущую в коридор дверь, то выглядывая на улицу из-за плотно затянутых оконных штор.

Дневные часы проходили в иммиграционном офисе – допросы следовали один за другим, а в перерывах Рачихина помещали в одну из закрытых комнат небольшого комплекса, составлявшего нечто вроде внутренней тюрьмы – в других комнатах, когда открывались их двери, Рачихин мог рассмотреть своих соседей, большей частью, задержанных при переходе границы мексиканцев.

* * *

К исходу седьмого дня Рачихина вдруг позвали к телефону – его вызывал Нью-Йорк. На другом конце провода слышались чистые русские голоса – с ним по очереди говорили руководители Толстовского фонда князя Голицын и Багратион.

– Поздравляем, Владимир Венедиктович! – доносилось из ставшей вдруг влажной в его руках телефонной трубки, – вы свободный человек!

Рачихину не доверяли. Собственно, ничего другого он и не ожидал, но особо явным это стало из последовавших за телефонным разговором с Нью-Йорком бесед с новыми фигурами в этом повествовании. Допрашивали его двое – сотрудник ФБР и сотрудник ЦРУ, при первой же встрече предъявившие Рачихину свои удостоверения. И хотя беседы эти вроде бы не были допросами – если не считать сопутствующих им новых и новых анкет, где все вопросы, на которые он многократно уже ответил, повторялись снова и снова – сотрудник ФБР, ведущий главным образом беседу, с нарочитой настойчивостью спрашивал Рачихина – не агент ли он КГБ? – сам смеялся вместе с отшучивающимся Рачихиным, а спустя некоторое время, снова повторял:

– Ну, а все-таки, скажи по-дружески, не для протокола, зачем тебя послали?

Он похлопывал Рачихина по плечу, извинялся за свой не вполне совершенный русский, спрашивал, не мог бы Рачихин дать ему пару уроков, и, во время коротких перерывов, наклонялся к нему через ресторанный столик, подмаргивал и опять:

– А долго тебя готовили к засылке?

Цэрэушник большей частью молчал, изредка лишь обращаясь вполголоса к Рою – так звали его коллегу – с короткой английской фразой.

В эту ночь Рачихин спал крепко, до 9 утра никто его не тревожил. Во время завтрака к нему подсел Рой.

– Сегодня летишь в Лос-Анджелес!

Остаток дня ушел на знакомство с Сан-Антонио, по которому Рой возил его в стареньком „Форде”, показывая университетский комплекс, здание старого костела, свой дом, наконец. А к десяти часам вечера Рачихин уже сидел, откинувшись, в узком, но достаточно удобном кресле небольшого, по сравнению со стоявшими рядом лайнерами, „Боинга”, перекатывая во рту леденец и ожидая взлета. Прощаясь у самого трапа, Рой, среди прочих напутствий, несколько раз повторил, так, чтобы Рачихин запомнил:

– Твое имя для всех попутчиков – Рич, Билл Рич.

А проходившим мимо них членам самолетной команды он, передавая Рачихина на попечение, добавил:

– Билл – грейт гай (прекрасный парень).

Что еще знали о нем пилоты, Рачихин понятия не имел, но когда самолет взлетел, стюардесса подкатила к его креслу столик, ящики которого были набиты крохотными бутылочками с водкой, коньяком, виски. Склонившись к Рачихину, она вдруг чмокнула его в щеку и жестом предложила выбирать все, чего Рачихину захотелось бы выпить.

– Платить не надо, – пояснила она, – это от нашей команды.

– Кто ты такой? – удивлялся его сосед, как выяснилось позже, миллионер из Хьюстона, летящий в Эль-Пасо выбирать породистых жеребцов для своей конюшни. – Ты „муви-стар”, не так ли?

– Да нет, русский я, из Олимпийского комитета, еду договариваться насчет игр, – пытался объясниться Рачихин, успевший под воздействием выпитого забыть версию, внушенную ему Роем. Не зная почти языка, он чувствовал себя уверенней, когда эта придумка, хоть как-то перекликавшаяся с его подлинной биографией, заставляла техасца широко улыбаться, похлопывая огромной ладонью по спине, и заказывать себе и Володьке, порцию за порцией, бутылочки недорогого канадского виски.

При этом крупные перстни, унизывающие пальцы его обеих рук, поблескивали в неярком свете фонариков, направленном освещающих салон самолета, и лицо его багровело от все нарастающего количества опорожненных бутылочек. И к концу полета Рачихин уже знал, что, доведись ему, поверив в настойчивые уговоры техасца, поселиться навсегда в его ранчо, жизнь,

ожидавшая его там, была бы похожа на ту, которой жили самые бесшабашные киногерои из знакомых Рачихину американских фильмов.

Америка

Выйдя по узким коридорам в зал ожидания, Рачихин почти сразу увидел стройную, лет двадцати, не старше, блондинку, державшую над головой картонный плакатик с выполненной ярким фломастером надписью – „Билл Рич”. В небольшом мотеле в Санта-Монике, куда она отвезла Рачихина, после регистрации у портье, занявшей не больше двух минут, они пришли в снятую для Рачихина Толстовским фондом небольшую комнату – здесь ему предстояло провести ближайшие недели.

Рачихин сбросил куртку, достал из сумки припасенные им в самолете бутылочки с водкой. Нем черт не шутит, – думалось ему, когда он разглядывал худенькую, облаченную в джинсовый костюм фигурку доставившей его девушки, – Америка, все же...” Отказавшись, однако, составить Рачихину компанию и предупредив, что назавтра за ним заедут из Толстовского фонда другие сотрудники, девушка в последний раз улыбнулась ему и исчезла в дверях.

Так начался первый день Рачихина в Лос-Анджелесе – в городе, о котором Рачихин знал пока ничтожно мало, никак не предполагая, что именно Лос-Анджелес станет на ближайшие годы его домом, олицетворив собою страну, в которой ему теперь предстояло жить.

* * *

Люди, близко знавшие Рачихина и ставшие ему здесь друзьями, – нет, скорее, приятелями, потому что настоящие его друзья оставались там, за тридевять земель, в покинутой им России, – не переставали поражаться, как им казалось, беззаботности Рачихина. Среди незнакомых людей, говорящих на чужом языке и живущих по чужим ему законам и правилам, Рачихин пытался устроиться таким образом, чтобы исключить для себя возможность войти в их среду или позволить своей новой судьбе пересечься каким-либо образом с их судьбами.

Почему так?





Люди, близко знавшие Рачихина и ставшие ему здесь друзьями, не переставали поражаться Володькиной, как им казалось, беззаботности.

Но особо угнетающим обстоятельством для Рачихина стало то, что круг друзей, образовавшийся в то время, когда он жил с Куколкой, распался...

«Успеется...» – говорил он себе. Успеется – когда? Этого он не загадывал. Но ощущал, как, едва пришедшее к нему в Лос-Анджелесе состояние покоя и надежности, пропадает при попытке американцев, даже самых доброжелательных, заговорить с ним. Боялся он их? Вряд ли... Если и боялся – то не этих, улыбчивых, выбрасывающих при знакомстве руку вперед, не в полупоклоне, по-европейски, а напротив, слегка откинувшись назад и смотрящих прямо в глаза собеседнику.

Наверное, кто-то из них мог бы помочь ему. Хотя, как? О работе, приносящей серьезный заработок, он просто не думал, довольствуясь более чем скромным пособием, выдаваемым Толстовским фондом, а когда пособие иссякло – случайными заработками, большей частью в домах старых русских эмигрантов, встреченных им в церкви.

Он помогал крыть крыши, расчищал запущенные дворики их далеко не новых домов, раскинутых по далеким друг от друга районам огромного города и его предместий, плотничал, замешивал бетон, устанавливал подпорки к заваливающимся заборам, огораживающим участки, и покрывал их неяркой охрой. Немного при этом сгодился опыт поездок со студенческими отрядами – немного, потому что там физическую работу выполнять ему почти не приходилось, ею занимались подопечные Рачихина.



Владимир Рачихин в первые месяцы американской жизни

По памяти он пытался повторить приемы, используемые при той или иной починке, получалось не всегда профессионально, но добросовестность, которую он вкладывал в свой труд, не оставалась незамеченной – его звали на помощь, иногда оставляя у себя в доме на месяц-другой, пока не кончалась работа. Бывало, что у каких-то хозяев он приживался, становясь как бы членом их семьи и постоянным помощником в доме – тогда на полгода, а то и полный год

пропадала забота о своем жилье, на аренду которого надо было бы выкраивать большую часть и без того скудного заработка.

* * *

Однажды совершенно случайно досталось ему консультировать студенческие съемки в Институте кино. Там Рачихина познакомили с известным киноведом, другом Боба Осборна, Френсиса Копполы и многих других голливудских знаменитостей – Бобом Чарлтоном. Переболев в детстве полиомиелитом, оставившим его на всю жизнь частично парализованным, Боб, тем не менее, вел активную жизнь.

Его 65-летний возраст не мешал ему самому работать на монтаже фильмов, читать лекции в университетах, руководить студенческими работами. Он-то и порекомендовал Рачихина студии „Нью уорлд-филм“, где Володьке предложили четыре месяца работы неговорящим дублером Клауса Кински. Именно во время этих съемок Рачихину стало окончательно понятным – в американском кинематографе ему ничего не светит, поскольку ни его английский (точнее, отсутствие такового), ни специфический опыт работы, полученный Рачихиным на „Мосфильме“, никоим образом не способствуют какой-либо карьере здесь, в Америке.

Правда, случилась еще одна работа, о которой Рачихин предпочитал помалкивать: в первом и пока единственном русском порнофильме он сыграл (пожалуй, профессиональнее и ярче всех других его участников) одну из главных ролей – советского партийного бонзу, сладострастного и разнузданного во всеилии своей должности.

Володька хорошо помнил эти съемки. Его приятель, бывший ленфильмовец, продав таксомоторы (заработал он их десятком лет кручения шоферской баранки по джунглям лос-анджелесских улиц), сделал отчаянную попытку пробиться в американский киномир. С парадного подъезда Голливуда, осаждаемого тысячами честолюбивых и часто талантливых претендентов, съезжающих сюда со всего мира, сделать это было, скорее всего, невозможно – на этот счет приятель мало обольщался.



«... случилась еще одна работа, о которой Рачихин предпочитал помалкивать... В русском порнофильме он сыграл одну из главных ролей – советского партийного бонзу, сладострастного и разнузданного...»

И он выбрал черный ход – снял порнофильм. Не обычный – с условным сюжетом и стандартными, переходящими из картины в картину крупными планами соития – какие сотнями крутят в пусси-кэтах. Подобные эпизоды, конечно же, и в его ленте были. Главным отличием фильма должен был стать довольно приличный сценарий на русскую тему, и, как предполагалось, снимаемый с русскими же актерами – на мужские и женские роли.

С женскими вышла заминка: согласившиеся поначалу бывшие россиянки запросили самоотвод – несмотря на заверения продюсера, что русской эмигрантской аудитории фильм показан не будет. Пришлось заменить их американками, для которых подобные съемки были второй, а то и третьей профессией. Вознаграждение, предлагаемое будущим участникам фильма, было, можно сказать, микроскопическое, совсем не голливудское – отсюда, видимо, и качество оставшихся на актерский отбор: несколько кандидаток, узнав размер ожидавшего их гонорара, участвовать в просмотре сразу отказались – а это были самые молодые и самые миловидные, видимо, не утратившие еще веры в свое замечательное будущее, расцвеченное яркими огнями рампы Большого Кино.

На главную мужскую роль тоже отобрался американец, превзошедший профессиональными данными, совершенно необходимыми для этой роли, всех русских кандидатов. Рачихин, согласившийся взять на себя исполнение эпизодической, но чрезвычайно колоритной роли партийного босса, напросился присутствовать на отборочном просмотре актрис.

Просмотр проходил в квартире продюсера, которую тот снимал в небогатом районе Голливуда и которая потом использовалась им для съемок многих сцен. Претендентки сбрасывали с себя в прихожей яркие майки и джинсы, входили в комнату, где сбоку от установленных для такого случая софитов на узком диване расположились продюсер и его жена. Тут же рядом на тренажере таинственно поблескивала голубым перламутровым глазом объектива кинокамера.

Рачихин стоял за софитами, как бы выполняя роль осветителя, и, затаив дыхание, ждал, когда очередная претендентка, покрутившись с полминуты перед камерой, сбросит с себя остатки одежды – лифчик, трусики – и примет небрежную позу на поставленном здесь же, обитом цветастой тканью, кресле, одолженном в соседней квартире. Кто-то из них, этих быстро стареющих девочек, должен был стать его партнершей – или даже партнершами, как по ходу съемок и вышло, – в самых откровенных сценах.

Неожиданным испытанием оказались съемочные дни как раз здесь, в квартире – когда софиты добавили к июльской жаре и вовсе уже невыносимую температуру. Слабенький кондиционер задыхался в проеме окна, казалось, он выполняет совершенно противоположную назначенной ему функцию... Так что о натуральности, естественности изображения сцен физической близости героев и речи быть не могло – в этом аду от участников требовалась лишь полная мобилизация их актерских возможностей и наличного таланта.

Веселее снималось на природе – но в этих сценах Володька не участвовал. Зато эпизоды, снятые в „партийной” бане – с оргией, завершающей удалой по-русски загул – Рачихину удались по-настоящему, да и вообще они оказались ударными и, может быть, даже спасительными для всего фильма, который, в конце концов, был куплен для изготовления с него тиража видеокассет.

„А ну, поддай пару, – потрясая водочной бутылкой, ревел обнаженный Рачихин, крепко обхватив другую рукой голенькую актрису, отобранную на роль его секретарши и любовницы, – вжаривай, туды их перетак, за родину, за партию!..”И именно эти эпизоды вселяли теперь в Володьку уверенность, что себя-то он сыграет лучше любого актера.

Достоверности исполнения Рачихиным этой роли немало способствовало близкое его знакомство со способами, которыми тайно развлекались представители советской элиты – Рачихину самому, и неоднократно, доводилось в свое время участвовать в оргиях, устраиваемых теми в загородных охотничьих домиках и закрытых для черни саунах.

* * *

А еще Рачихин писал стихи. Сотни разлинованных тетрадных страниц покрывал он неровными колонками своего крупного полудетского почерка. Писалось, в основном, о России, о женщинах, которые остались там. И еще – о природе, чаще всего о лесах и щебечущих в них птицах: такие стихи хорошо было читать приятелям и их подругам, собравшим вокруг Рачихина некий замкнутый круг, редко пополняемый новыми лицами, но зато и ставший вполне постоянным за счет десятка образовавших его человек.

Преимущественно все они были русскими – по национальности, не по принадлежности к последней волне российской эмиграции, выплеснувшей на берега Америки четверть миллиона беглецов из советского рая. Собравшись на чьей-нибудь квартире, они проводили часы, иногда с самого утра и до поздней ночи, за столом, уставленным бесчисленным числом бутылок и блюдами, нагруженными традиционной русской снедью.

Песни, которые пелись во время этих застолий, тоже были русскими – иногда старинными, чаще – советскими. Особенно любимы были те, сложенные в последнюю войну, затопившую кровью не только оставленную ими страну, но весь евразийский материк: про темную ночь, про девушку, провожавшую дружка на передовую без надежды, что он с нее вернется... про землянку...

Кто-то брэнчал на гитаре, отсев на диван и приладив на его спинку недопитую рюмку, кто-то, забившись в дальний угол, курил сигарету за сигаретой, уставившись оттуда невидящим и потухшим взглядом на остальных членов компании. Нередко возникали безобразные сцены – кого-то из девушек бил ее друг, бил сильно, по-мужски, не разбирая, куда придется удар кулака.

Избиваемая, пытаясь укрыться, выкрикивала матерные ругательства, лицо ее становилось похожим на карнавальную маску от растекшегося по нему грима, смешанного со слезами. Их нехотя растаскивали оказавшиеся поблизости подруги – ребята старались не вмешиваться, справедливо полагая: разберутся сами.

Потом в стену барабанили разбуженные соседи, спорить с ними не хотелось, и компания рассаживалась по машинам – можно было, забрав оставшуюся закуску и выпивку, уехать к морю, где на пустынном к этому времени пляже, раскинув на земле принесенную снедь, было удобно завершить встречу, похожую на десятки таких же, которые уже были, или непременно состоятся на следующих неделях...

* * *

Нельзя сказать, чтобы Рачихин совершенно не задумывался о будущем, ожидавшем его в Америке. Время от времени возникали идеи, связанные с необходимостью каких-то решительных перемен в его жизни. Когда-то, еще в 71-м, в период работы его в Комитете по науке, пытался Рачихин с помощью влиятельных друзей реализовать занимавший его в то время проект – велопробег, рассчитанный на 475 дней и охватывающий столицы всех состоявшихся когда-либо Олимпийских игр. Предполагалось, что во время этого пробега будет сниматься видовой фильм, а по завершении его будет написана книга, авторами которой станут участники пробега.

Рачихин успел зажечь этой идеей профессора 1-го Медицинского института, который брался сконструировать специальный велосипед для поездки, приводимый в движение не только ногами, но и руками. Леша Петров, друг Рачихина, имевший титул чемпиона мира по велосипедному спорту, брал на себя Спорткомитет. Противников такой поездки практически не было, формальная поддержка высказывалась и Федерацией велоспорта, и, в частном, правда, порядке, многими должностными лицами других учреждений.

Оставалось решить два вопроса – финансирование и выездные визы для предполагаемых участников пробега. На том дело и закончилось.

Сейчас Рачихин думал, что идея его куда ближе к реализации, нежели в те годы. Он вычертил на карте маршрут предполагаемого пробега и предложил его нескольким фирмам, выпускающим велосипеды. И опять – никто против не был, идея нравилась. Но Рачихин не являлся гражданином США и на вопрос: „Под каким флагом поедете?“ – ответа не находил.

Куколка

„Проведенное расследование не смогло установить наличие родственников пострадавшей, живших с нею...“

Никто из заинтересованных лиц или друзей жертвы не вошел в контакт со следствием с целью формально заявить свое мнение по поводу происшествия”.

Протокол следствия, раздел „Пострадавшая” стр.1

Случались у Рачихина и другие знакомства – порой, совершенно неожиданные, но приносящие собою решение каких-то, ставящих Рачихина в тупик, житейских проблем. Так, однажды в церкви представили его князю Есенскому. Когда-то Александр Маврикиевич жил со своим отцом во дворце на Каменном острове... Давно отошли в прошлое приемы в Царском Селе, которые престарелый князь помнил весьма смутно.

Смела, растоптала российская революция блистательные разъезды в золоченых каретах с ливрейными лакеями на запятках, балы с участием приглашенных на них посланников дружеских держав. Разметали смутные годы княжеский род по миру, и вот теперь один из последних его отпрысков, проникнувшись сочувствием к незадачливому земляку, приютил Рачихина в скромном своем голливудском домишке, сохранившемся пока у подножья наступающих на него со всех сторон многоэтажных, с полустеклянными стенами, банковских и конторских строений.

Не очень хотелось Володьке становиться приживальцем у Александра Маврикиевича – старик был милейший и отнесся к Рачихину по-отечески, но, при всем этом, значительная часть самостоятельности утрачивалась, возникала какая-то новая и тягостная зависимость. Выбора, однако, у Рачихина не было, потому что заработки его были случайны и невелики, жилье непрерывно дорожало, и Рачихин, скрепя сердце, перебрался со своими скромными пожитками в княжеский домик.

Здесь-то, на восьмом месяце жизни в Лос-Анджелесе, Рачихин встретил Куколку. Люда, таким было ее настоящее имя, приехала в Америку за несколько лет до этого, используя приглашение бывшего мужа, с которым развелась еще до его выезда из России, где-то году в 75-м. При этом решались сразу две задачи: Бен (так здесь стали называть отца росшего у Люды мальчишки) получал своего сына, вернее, – возможность часто видеть его, забирая к себе еженедельно по выходным, а иногда и на неделю-другую. Люда же, оказавшись в Америке, могла пытаться использовать открывшиеся перед нею здесь новые возможности устроить жизнь, зная

при этом, что будущее ее шестилетнего Саньки вполне обеспечено отцовским покровительством.

Сблизившись, они стали встречаться ежедневно. Рачихин, отработав какое-то число часов в доме Есенского, которому он помогал следить за хозяйством, или где-то на стороне, чаще всего у знакомых князя, старых российских эмигрантов, садился на велосипед, купленный им по случаю за символическую плату в несколько долларов, и катил за 15 миль – в сторону океана, омывающего западную оконечность громадного города, собственно, даже не просто города, но мегаполиса, вобравшего в себя не меньше тридцати сросшихся между собою городков, поселков и местечек.

Там, в Санта-Монике, Люда снимала недорогую, но очень славную квартирку, с окнами, обращенными в сторону недалекого, заслоненного лишь несколькими кварталами многоквартирных домов, а потому не видимого отсюда океана. Собственно, именно квартирка Люды стала вскоре центром, вокруг которого образовалась упомянутая выше компания русских ребят – когда Володька, следуя ее предложению, перебрался от князя в Санта-Монику.

Теперь уже линии его ежедневных велосипедных маршрутов пролегли в обратном направлении – из Санта-Моники в Голливуд, где чаще предоставлялась ему временная работа. Люда по утрам уезжала на своем стареньком „Фольксвагене” в контору, где временно исполняла обязанности техника, или на поиски работы, когда ее увольняли с очередного места. Еще она брала в колледже курсы программистов и, одновременно, в Калифорнийском университете – языковые, училась на бухгалтера и, наконец, нашла постоянную работу, правда, с неполной занятостью, в магазине, торгующем оружием. Была она миловидна, по-американски улыбчива, и окружающие относились к ней тепло и сочувственно.

Иногда, большей частью до возникновения ее дружбы с Рачихиным, случалось ей встречаться с мужчинами, но знакомства эти кончались быстро и ничем – американцы, даже всерьез увлеченные ею, казались Куколке, как ее стал называть Рачихин, скучны, их интересы были чужды и далеки, многие их привычки представлялись пугающими и даже отталкивающими. Куколку тянуло к своим. Рачихин, вселившись в ее квартиру, вечерами заглядывал в винный отдел супермаркета.

Приносимая бутылка дешевого сорта бренди постепенно пустела, способствуя возникновению между ними какого-то нового, более высокого уровня близости – когда начинало казаться, что и в России жили они одной общей жизнью и общей судьбой. Потом, наутро, Рачихин старался вспомнить, к какой степени духовной обнаженности привела его Куколка, но виделось ему только, как она, плача, рассказывает что-то о Москве, об оставленных там друзьях, о родителях, живущих в Черновцах, от которых давно нет писем.

Себя он вчерашним не помнил и это тревожило его: появлялась мысль, что пьет он чрезмерно, и хорошим это не кончится, а потому надо бы с выпивкой завязывать, браться всерьез за язык и подыскивать работу – пусть не связанную с его профессиями – но стабильную и прилично оплачиваемую.

* * *

К исходу второго года отношения Рачихина с Куколкой стали, кажется, изживать себя. В ее жизни появился Виктор, тоже эмигрант из России. Рачихин ревновал, или ему казалось, что он ревнует Люду к новому ее другу, хотя причин для этого чувства, вроде, быть не должно – ведь он сам и не раз, понимая временность и зыбкость их отношений, советовал ей найти кого-то, с кем она могла бы остаться навсегда.

Вскоре друзья помогли Беглому, так они прозвали Володьку, даже заставили его пройти трехмесячную программу в наркологическом центре, дабы покончить с тягой к ежедневным выпивкам, и в августе 85-го Рачихин поселился в этом центре. А выписавшись оттуда, вернулся

к Людмиле – по ее предложению – уже в ином качестве: у них установились как будто чисто приятельские отношения.

Видясь дома нерегулярно, даже не ежедневно, время от времени они встречались вдруг, без предварительного уговора, в каких-то компаниях, реже – в русском ресторане, приходя туда каждый со своими друзьями: программа отлучения от выпивки, пройденная Рачихиным, оказалась эффективной, и визиты сюда могли бы привести его к рецидиву, чего Рачихин пока не хотел.



Люда-Куколка

Рачихин – Версия 1-я

Ко времени первого допроса обвиняемого, он, по его заявлению, на протяжении двух недель не имел постоянной работы, за исключением двух дней, в течение которых он зарабатывал по 20 долларов в день.

Протоколы следствия, раздел „Обвиняемый”, стр.8

– В один из предрождественских дней, – рассказывает Рачихин, – в квартире раздался телефонный звонок. Бен, вернувшийся из двухнедельного отпуска, просил помочь ему вынести со второго этажа Санькины вещи – предполагалось, что Рождество сын проведет в его доме. С Людой он виделся в силу необходимости и без особой охоты, а потому подниматься в ее квартиру не хотел, хотя сама она в это время спала, вернувшись с работы позже обычного и несколько подшофе – мне она объяснила, что сотрудники обмывали полученную ими премию.

Вещей собралось много, трижды я спускался во двор и поднимался, передавая их Бену. Договорившись в ближайшее время созвониться – он обещал подумать, как помочь мне с работой – Бен с Санькой загрузились в „Мерседес” и уехали. Я сбегал в магазин, что собирался сделать не первый день, открывая по утрам дверцы пустого холодильника, и принял душ. Было около 6 вечера, в 7 мы условились с друзьями встретиться у кинотеатра – шел новый фильм „Бразилия” видевишие хвалили его.

В это время проснулась Люда. Она, вроде, тоже собиралась идти в какую-то компанию, но вдруг, переменив решение, предложила: едем ужинать в Малибу. Подумав немного, я решил – почему нет? Фильм будет идти еще не одну неделю, а с Куколкой нам вот уже сколько времени не доводилось провести вечер вдвоем, без посторонних. Наскоро собравшись, мы вышли к машине и вскоре уже катили по шоссе, тянущемуся вдоль океана, в сторону Малибу. По пути Люда вдруг вспомнила – сигареты остались дома!

В нескольких милях от Санта-Моники я вывел „Фольксваген” с шоссе к автомобильной стоянке супермаркета в Пасифик Палисайд. Люда наказала мне, кроме сигарет, прихватить с собою коньяка. Вернувшись к машине, я нашел ее уже на заднем сиденье. Протянув руку за бутылочкой „Крис-чиан бразерс”, она отхлебнула из горлышка и попросила достать хранившийся в багажнике спальный мешок – одеты мы были легко, и в открытые окна „Фольксвагена” проникал прохладный, дувший со стороны океана, ветер.

Закутавшись, она закурила. Я повернул оставленный в замке ключ зажигания, и через минуту мы снова оказались на шоссе, пытаясь сообразить, где же тот ресторан, в котором с полгода назад провели великолепный вечер – ни я, ни она не могли вспомнить, даже приблизительно, в каком месте следовало искать его. Правда, оба мы помнили название – „Бич-Комбер”, но как можно было рассмотреть и прочесть его вывеску – даже если бы мы проезжали совсем рядом – на скорости, с которой неслись по шоссе машины, заставляя и нас придерживаться ее?

Люда стала нервничать, настроение у обоих испортилось...

– Ничего ты не можешь запомнить! – выговаривала она мне с заднего сиденья, – мы же его давно проехали!

– Но я-то веду машину, тебе следовало бы следить за вывесками, – оправдывался я.

Назревала ссора. Дождавшись, когда встречная полоса стала пустой, я резко развернул „Фольксваген” и, подкатив к самой кромке шоссе, обрывавшейся в нескольких метрах от нас крутым спуском к океану, остановил машину. Люда, прикуривая от сигареты сигарету, казалась, распаляла сама себя.

Срываясь на крик, она вдруг потребовала:

– Убирайся из машины, у меня сегодня свидание!

– Но ты же сама предложила ехать в ресторан, у меня были другие планы!

Не хочется вспоминать, но в тот момент мы чуть не подрались: в ответ на мои упреки Куколка, дотянувшись с заднего сиденья, пыталась ударить меня, но лишь слегка задела ногтями мою щеку, оставив на ней легкую ссадину. Резко оттолкнув ее, я выскочил из машины. Помню, как за спиной грохнула захлопнутая мною со всего размаха дверца.

Я шел вдоль шоссе, не оглядываясь, в сторону города, мысленно проклиная себя за то, что согласился на эту поездку. Сейчас, когда меня спрашивают, выключил ли я мотор двигателя, поставил ли машину на ручной тормоз – я не знаю, что ответить... Я действительно не запомнил ничего – кроме страшного шума, раздавшегося позади меня спустя минуту. Оглянувшись, я ничего не смог рассмотреть – густой туман, поднимавшийся с океана, клубился над шоссе, делая его почти невидимым на расстоянии десятка-другого шагов.

Поразмыслив, я решил вернуться к машине: было тревожно за Люду, подумалось, что услышанный мною шум был, возможно, вызван тем, что, выведя „Фольксваген” на шоссе, она в тумане ударила другую машину. Да и вообще, если пока ничего и не случилось, то может случиться: Куколка успела отпить почти треть бутылки, полицейские патрули в рождественские дни встречаются чаще, чем обычно...

Вернувшись метров на сто – столько, сколько по моим расчетам я успел пройти, удаляясь от машины в сторону города, – я, как мне казалось, вышел к тому месту, где стоял Людин „Фольксваген”. Там его уже не было, и, потоптавшись минуту-другую, я сумел предположить только, что Люда благополучно уехала. До города было не больше 4–5 миль, ну и еще 26 кварталов по Санта-Монике.

„Доберется...” – подумал я и зашагал навстречу несущимся мне машинам, оставлявшим в эти часы вечерний Лос-Анджелес. Отойдя мило, может, – полторы, я вспомнил, что где-то рядом должен быть магазинчик с телефонной будкой возле него. Действительно, вскоре я сумел рассмотреть едва пробивавшиеся сквозь туман блики светового табло, установленного над лавкой, торгующей рыболовецким инвентарем.

Я пересек шоссе, подошел к автомату, набрал по памяти телефоны Олега, Сережи, еще чьи-то – никого из друзей дома не оказалось. Обнаружив невдалеке груды огромных валунов, я подошел к ним, присел, вытащил из кармана оставшийся у меня шкалик, на две трети наполненный коньяком. Шестой месяц не брал я в рот ничего спиртного, избегал даже пива. Первые же сделанные глотки ударили в голову. Открыв пачку, забытую в моем кармане Куколкой, „Вирджинии Слимс”, я закурил сигарету.

Бутылка незаметно опустела. Я чувствовал себя уже по-настоящему пьяным, что было не удивительно – с утра не довелось мне пообедать, и доза, которая раньше, когда я пил постоянно, показалась бы мне незаметной, сегодня оглушила меня. Помню, как возле камней, на которых я пристроился, остановился таксист, ехавший со стороны Малибу. Он предложил подбросить к городу, но узнав, что карманы мои пусты, так же внезапно исчез в ночном тумане, как и появился из него.

* * *

Было уже около часа ночи, когда пришла мысль – позвонить Бену: в конце концов, я же только что помог ему, почему бы и Бену, живущему на расстоянии миль десятипятнадцати отсюда, не заехать за мной. Бен оказался дома. Я не помню, что говорил ему тогда. Во всяком случае, мои слова „Людмилы больше нет” следовало бы истолковать как то, что для меня она больше не существует, и эта наша ссора станет последней – так дико нам с нею еще не доводилось ругаться, хотя стычки, конечно же, были, главным образом, по каким-то пустякам...

Прошло сколько-то времени, может, – полчаса, когда из тумана вынырнул „Мерседес”. Рядом с Беном сидели его приятели – русская пара и американец.

– Где Людмила? – спросил Бен, выходя из машины. – Где она? – почти сразу повторил он вопрос.

– Не знаю... Она вызвала меня сюда, сказав, что барахлит машина. Я приехал на такси, а ее нет.

Сказав Бену за некоторое время до этого, что я больше не встречаюсь с Людмилой (что, в общем-то, было правдой), я не хотел говорить ему теперь, что мы поехали в ресторан. Так вот родилась эта ложь, которую мне неоднократно пришлось в дальнейшем повторять – пока я не понял, что как бы скверно ни выглядело в глазах следствия и наших общих друзей то, что произошло на шоссе, лучше бы они узнали об этом от меня сразу.

Тогда же мне эта версия казалась наилучшей и все объясняющей: машина у Куколки действительно часто барахлила, особенно после того, как кто-то подсыпал в бензобак сахар. И потом, даже спустя месяцы, когда „Фольксваген” несколько раз побывал в ремонте, он то и дело останавливался в дороге, причем, всегда в самых неудобных местах и в самое неподходящее время.

Мы сели в „Мерседес” и проехали в обоих направлениях вдоль берега – Людиной машины не было.

– Куда тебя отвезти? – спросил Бен, в последний раз разворачивая машину на полосу шоссе, ведущую к городу.

– К Людмиле...

Так и поступили.

Уснул я почти мгновенно и не раздеваясь. А в пятом часу утра был разбужен стуком в дверь. На пороге стояли 5 или 6 полицейских. Светя впереди себя фонариками, они вошли в квартиру.

– Где Людмила?

Автоматически я повторил им историю, рассказанную экспромтом Бену. Он же, вернувшись домой, немедленно позвонил в полицию и сообщил об исчезновении Куколки...

Тюрьма

Наутро после первого визита допросившей его полиции, Рачихин, мучимый похмельем, от чувства которого успел крепко отвыкнуть, бессонной ночью и мыслями о Куколке, направился на работу в столярный цех. Почти сразу поняв, что и часу не сможет пробыть в мастерской, он сказался нездоровым и, помахав на прощанье рукой молодому негру, в паре с которым он здесь работал, снова сел в машину.

Машина была чужой, она принадлежала Людиной подруге Оле. Уехав в отпуск, та оставила „хондочку” в пользование Рачихина: свою старую машину он успел продать за пару недель до того, рассчитывая впоследствии купить более экономичную. Единственной Олиной просьбой было присматривать за домом и по возвращении встретить ее в аэропорту. Как раз назавтра, в воскресенье, она возвращалась из отпуска.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.